W 385/446

И.А.ГРУЗДЕВ

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО КУБУЧ
1926 г.

№ 385/446

И. А. ГРУЗДЕВ

Максим Горький

Биографический очерк

(По новым материалам)

XXV-51028

Издательство
«К У Б У Ч»
Ленинград
1 9 2 5

Типо-Литография Ленинградского Губоткомхоза. Ул. 3 Июля 55.
Ленинградский Гублит № 13315. 5000 экз. 5 л.

Предлагаемая работа является лишь популярным очерком жизни М. Горького. Имея в виду такое задание книги, я счел возможным не пестрить изложение комментариями и подробными ссылками на источники,—будь то общедоступный печатный материал или архивные данные.

В работе частично использованы неизданные материалы, собранные М. Л. Слонимским.

В настоящее время подготовляю к печати „Книгу о Горьком“ исследовательского характера. Помещаемые там „Материалы для биографии М. Горького“ будут соответственно прокомментированы.

И. Г.

I.

Алексей Максимович Пешков (Максим Горький) родился 16 марта 1868 года в Нижнем-Новгороде. Дед Горького по отцу—Савватий Пешков, солдат николаевской службы—дослужился до офицера, но снова разжалован был в солдаты и сослан в Сибирь за жестокое обращение с подчиненными. Человек он был столь крутого характера, что сын его—Максим Пешков—еще в отрочестве пять раз убегал из дому. Однажды отец травил его по лесу с собаками, как зайца, другой раз—поймал и стал так истязать его, что соседи отняли у него мальчика. Несмотря на такое нерадостное детство и горькие скитания в юности, Максим Савватиевич Пешков всегда оставался добрым и очень веселым человеком. Семнадцати лет, уйдя, наконец, навсегда из семьи, он пешком пришел из Сибири в Нижний и здесь поступил учеником к драпировщику. Работал он в мастерской столяра-подрядчика и в 20 лет считался хорошим мастером своего дела—краснодеревщиком, обойщиком и драпировщиком.

Мастерская, в которой он работал, была по соседству с красильным заведением Кашириных. Максим Пешков знакомится с дочерью Каширина, мещанкой Варварой Васильевной, и от брака с ней рождается будущий писатель. Старик Каширин, выбившийся в люди из бурлаков и добившийся денег и почета, три трехлетия бывший цеховым старшиной малярного цеха, ни за что не допустил бы брака с парнем без-роду, без-племени; для своей дочери он мечтал о муже дворянине.

Однако, любовь молодых людей взяла свое,—они обвенчались „самокруткой"—вопреки воле отца, и упрямый красильщик должен был смириться перед совершившимся фактом. Максим Пешков в семье Кашириных казался человеком особым. Он не походил на зверски-жестоких братьев Кашириных—Михаила и Якова, из которых один вогнал в гроб побоями одну жену, а другой—двух. Братья Каширины не взлюбили и Пешкова и, однажды зимою, пьяные, спихнули его в прорубь. Максиму едва удалось спастись. В полицию он не донес, но после этого случая затосковал и решил уехать из Нижнего. Волжское пароходство назначило его управляющим конторою в Астрахани, куда он и отправился с женой и сыном. Только три года жили Пешковы в Астрахани.

В 1873 г. мальчик заболел холерой, выздоровел, но заразил ею отца. Максим Савватиевич умер, оставив беременную жену и пятилетнего сына. После его смерти бабушка Каширина увезла Алексея и его мать на родину, в Нижний. Там началась для мальчика новая жизнь—суровая и страшная. Он окунулся в звериный быт мещан провинциального города, и тем тяжѐле терзали его „свинцовые мерзости дикой русской жизни", что он знал уже иную, лучшую жизнь: в Астрахани он не слышал грубых слов, не терпел побоев—отец и мать относились к нему и друг к другу ласково и любовно. В Нижнем же дедушка Каширин порол его нещадно. Озорство взрослых, пьяные драки, истязания, издевательства над слабыми, бессмысленная жестокость—в таких тяжелых условиях формировался характер будущего писателя. Были, впрочем, и скрашивающие эту тяжелую жизнь моменты. Мальчик любил слушать свою бабушку Акулину Ивановну, которая сказывала ему стихи о том, как „Богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу князь-барыню Енгалычеву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея Божьего человека, про Ивана Воина; сказки о Премудрой Василисе, о Попе-Козле и Божьем Крестнике; страшные были о Марфе Посаднице, о бабе Усте, атамане разбойников, о Марии-грешнице египетской, о печалях матери разбойников"...

Бабушка была и на всю жизнь осталась для Горького, по его словам, другом самым близким сердцу, самым понятным и дорогим человеком. Ее бескорыстная любовь к миру обогатила его, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Жадный до впечатлений, ребенок напряженно всматривался и вслушивался в окружающее, крепко запоминая все виденное. Еще в пятилетнем возрасте, во время ночного пожара, несмотря на суматоху и испуг, царившие во дворе, он убежал от присмотра и забился под ступени крыльца из опасения, чтобы его не увели с другими детьми и не помешали ему наблюдать происходившее. Не хотел покоряться Горький и бессмысленно жестокой жизни, которою жили окружающие. Он копил в себе силы для бунта и, как мог, бунтовал уже в детстве.

Мать не играла никакой роли в жизни Горького. Она не любила сына, считая его виновником смерти любимого мужа. Вскоре по приезде в Нижний она вторично вышла замуж—за дворянина,—студента межевого института, Евгения Максимова, но жилось ей с мужем очень плохо. Однажды Горький, увидев, как вотчим бьет мать ногой в грудь, чуть не зарезал его ножом. Он совершенно искренно сказал матери, что зарежет вотчима и сам зарежется. Горькому было тогда девять лет. Вскоре, брошенная вторым мужем, мать Горького умерла от скоротечной чахотки.

Шести лет Горький обучался грамоте у своего дедушки по Псалтирю и Часослову, и дедушка был очень доволен успехами внука, находя, что память у него „лошадиная".

Семи лет Горького отдали в школу, где он заразился оспой.

„Учился я плохо,—пишет Горький в своей автобиографии,—школьные порядки ненавидел, товарищей тоже, ибо всегда любил уединение".

Во время болезни он едва не погиб. Однажды вечером, уже в период выздоровления, лежал он в чердачной комнате с забинтованными руками. Перепугавшись одного бредового видения, Горький вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор, в сугроб снега. В тот день в доме были гости, никто не слыхал, как он бил стекла и ломал рамы, и мальчику пришлось пролежать в снегу довольно долго. Отделался он вывихом руки, сильной порезанностью стеклами, да еще тем, что в течение трех месяцев не владел ногами.

Между тем имущественные дела родных Горького становились все хуже и хуже. Вотчим его проигрался в карты, был выгнан со службы и вымещал свою злобу на жене. После того, как Горький бросился на него с ножом, мальчик был удален из дома и снова переброшен к деду. Но и Каширины к тому времени разорились вконец. Дед вложил весь капитал в какое-то сомнительное предприятие, все потерял, переехал с женой в подвал старого дома и превратился в неописуемого скрягу. Он отобрал у бабушки все вещи, сам себе готовил еду отдельно от нее, даже масло для лампадки под образом каждый покупал свое. Умер он 92 лет нищим, и за год до смерти сошел с ума.

Чтобы помочь бабушке, Горький по праздникам и в будни после школы отправлялся по дворам и по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо—тоже, пуд костей—по гривеннику или по восьми копеек. Школьники—дети слободских мещан—смеялись над Горьким, называя его „ветошником" и „нищебродом", а однажды заявили учителю, что от него пахнет помойной ямой и что нельзя сидеть рядом с ним. „Помню,—писал Горький,—как глубоко я был обижен этой жалобой, и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье".

Десяти лет Горького отдали в „мальчики" в магазин обуви; там он обварил себе руки кипящими щами и был отослан хозяином домой. Вскоре, впрочем, опять его послали „в люди"—в ученики к чертежнику. Ремеслу чертежника, однако, его не учили, и вместо того исполнял он обязанности гор-

ничной у двух сварливых и драчливых баб-хозяек: мыл полы и лестницы, колол и носил дрова для печей, мыл посуду, чистил овощи, ходил с хозяйкой по базару, таская за нею корзину, бегал в лавочку и в аптеку. Весной, когда Волга разлилась широко, а на земле было шумно и просторно, Горький убежал из душного мещанского дома. Стыдясь вернуться к бабушке, которой он дал слово „потерпеть", Горький не пошел домой, а стал жить на набережной, питаясь около добродушных крючников и ночуя с ними на пристанях. Там же он нашел себе новое место: поваренка на пароходе. Пароходный повар, Михаил Антонович Смурый, был „первым учителем" будущего писателя. „Гвардии отставной унтер-офицер Смурый,—писал Горький в своей автобиографии,—человек сказочной физической силы, грубый, очень начитанный; он возбудил во мне интерес к чтению книг. Книги и всякую печатную бумагу я ненавидел до этой поры, но побоями и ласками мой учитель заставил меня убедиться в великом значении книги и полюбить ее".

Повар заставлял Горького читать книжки франк-масонов, Эккартгаузена, но он же дал Горькому жития святых, Некрасова, Гоголя, Глеба Успенского, Дюма-отца и другие хорошие книги.

Однако, несладко жилось и на пароходе. Официанты и посудники на-перебой старались делать неприятности поваренку, злобясь на то, что Смурый брал его всегда под свою защиту. Горькому часто хотелось убежать с парохода, на первой же пристани уйти в лес, но удерживал Смурый. Кончилось тем, что врагам его удалось-таки оклеветать его в воровстве, и буфетчик рассчитал Горького, выдав восемь рублей—первые крупные деньги, заработанные им.

Повар Смурый оказал сильное влияние на умственный рост Горького. Читать он стал все, что попадало под руку. Только книги давали ему возможность переносить атмосферу отупляющей тоски, царившей в доме чертежника, куда он вновь определился с осени. „Чтобы побороть ее,—вспоминал Горький,—я старался как можно больше работать. Недостатка в работе не ощущалось,—в доме было двое младенцев, няньки не угождали хозяевам, их постоянно меняли; я должен был возиться с младенцами, каждый день мыл пеленки и каждую неделю ходил на Жандармский ключ полоскать белье,—там меня осмеивали прачки".

„Но все-таки в овраге, среди прачек, в кухнях у денщиков, в подвале у рабочих землекопов было несравнимо интереснее, чем дома, где застывшее однообразие речей, понятий, событий вызывало только тяжкую и злую скуку".

С большим риском доставая книги, Горький забирался на чердак, в сарай, пытался ночью читать при свете луны и бывал бит, если заставали его с горящей свечей. Однажды

битье пучком сосновой лучины вогнало ему под кожу спины множество глубоких заноз. К вечеру спина вспухла подушкой. Пришлось везти его в больницу, где доктор вытащил у него сорок две щепочки.

К пятнадцати годам Горький, по его словам, чувствовал себя пожилым человеком. Он „внутренне разбух и отяжелел" от всего, что пережил, прочитал, о чем бесконечно думалось. „Заглянув внутрь себя, я находил свое вместилище впечатлений подобным темному чулану, который тесно и кое-как набит разными вещами. Разобраться в них не было ни сил, ни уменья".

Люди внушали Горькому недоверие и бессильную жалость, он мечтал „о тихой, одинокой жизни с книгами, без людей". Книги же учили деятельной любви, деятельной жалости, заставляли бороться против буднично-страшного, „сцепив зубы, сжав кулаки",—„как надлежало храброму герою французских романов", читанных им в изобилии.

Этот „храбрый герой" со злобой кинулся однажды на дворника, издевавшегося над проституткой, а потом, после жестокой драки, обезумев от невыносимой тоски, кусал губы, чтобы не реветь, не орать.

„Мальчишка, задерганный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественное обещание помочь людям, честно послужить им, когда вырасту".

В это время Горький опять служил на пароходе, потом перешел в иконописную мастерскую в Нижнем, где просвещал своих товарищей, читая им книги и, между прочим, „Демона" Лермонтова, который произвел огромное впечатление как на аудиторию, так и на самого чтеца.

Еще промышлял птицеловством и опять служил у чертежника. У чертежника же оказался на службе и вотчим Горького, бывший уже в последнем градусе чахотки и вскоре умерший. После его смерти, осенью 1884 года, Горький отправляется в Казань учиться, унося от детских и отроческих лет острую ненависть к жестокой мещанской жизни.

II.

„Надобно что-нибудь делать с собой, а то пропаду",—такими мыслями мучился Горький, не находя себе места в жизни. Знакомый гимназист, приятель его—большой добряк—уговорил Горького ехать в Казань, учиться в университете. Когда же он приехал по зову и поселился у своего юного руководителя, то оказалось, что планы последнего были более чем легкомысленны. Семья гимназиста сама жила по-нищенски, и Горький, чтобы не есть чужой хлеб, с утра уходил из дома, а в дурную погоду—отсиживался на пустыре, в подвале... „Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под

шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет — фантазия, и что я поступил бы умнее, уехав в Персию".

Чтобы не голодать, Горький идет работать на Волгу, к пристаням, где ежедневно он мог заработать пятнадцать—двадцать копеек. Там он сталкивается вплотную с жизнью „босяков"—людей, которые своей психологией и бытом поразили его воображение и послужили материалом для его лучших рассказов. Их вольная жизнь не похожа была на душную и тяжелую жизнь мещан провинциального города. „Среди грузчиков, босяков, жуликов я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли,—каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголенно-жадные, люди грубых инстинктов,—мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо-враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду".

Горького, который сам был человеком настойчивым и деятельным, привлекала в этих людях их жизненная энергия, их активность, их любовь к жизни, несмотря на все ее невзгоды. Толкало его к ним и отчаяние в своих надеждах подняться вверх, начать учиться. Жизни на Волге Горький обязан и еще одним сильнейшим впечатлением, которое навсегда сохранил он в своей душе.

„...Мне хорошо памятен день,—писал Горький,—когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда. Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром; артель грузчиков взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь, дул верховый ветер, по серой реке сердито прыгали волны, ветер, бешено срезывая их гребни, кропил реку холодным дождем. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом; баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр.

Вечерело. Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекой. Грузчики ворчали и ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз.

К полуночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт-о-борт к сидевшей на камнях; артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец и сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким, бабьим голосом:

— Молись, ребята!

В темноте, на палубе баржи, грузчики сбились в темную кучу и заворчали, как медведи, а староста, кончив молиться раньше всех, завизжал:

Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С богом—начинай!

И тяжелые, ленивые, мокрые люди начали „показывать работу". Они, точно в бой, бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи,—с гиком, ревом, с прибаутками. Вокруг меня с легкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кож, каракуля, бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и споро работают те самые тяжелые, угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал гуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на головы, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей метались черные люди, глухо топая ногами о палубы баржи. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырех-пудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине.

...Большой бородатый человек в поддевке, мокрый, скользкий,—должно быть хозяин груза или доверенный его,—вдруг заорал возбужденно:

— Молодчики—ведерко ставлю! Разбойнички—два идет! Делай!

Несколько голосов сразу, со всех сторон тьмы густо рявкнули:

— Три ведра!

— Три пошло! Делай, знай!

И вихрь работы еще усилился.

Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, казалось мне, что я сам и все вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя—месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места, куда захотят.

Я жил эту ночь в радости, не испытанной мною, душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистал над рекою ветер, в серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые, мокрые люди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом... Казалось, что такому напряжению радостно раз'яренной силы ничто не может противостоять, она способна содеять чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещие сказки.

...И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождем и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля".

В то же время Горький впервые заводит знакомства среди интеллигенции, сближается со студентами, участвует в кружках для самообразования. Студенты собирались, прячась от полиции, читали сообща запрещенные книги и яростно спорили о будущем России и о „народе". Это были обломки того общественно-революционного течения интеллигенции, которое получило название „народничества" и которое стремилось произвести социальную революцию путем пропаганды среди крестьян идей мелко-буржуазного социализма. Вера в то, что „народ" восстанет по первому призыву интеллигенции, являлась краеугольным камнем этого учения.

Горький плохо понимал эти споры о „народе". „Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков, знал Якова, Осипа, Григория, а тут говорили именно об единосущном „народе", как воплощении мудрости, духовной красоты и добросердечия".

Тем не менее, Горькому они казались людьми, которые готовятся изменить жизнь к лучшему, и он относился к ним почти восторженно: „как пленник, которому обещают свободу".

Интеллигенты же относились к нему снисходительно и с одобрением, называли „самородком", „сыном народа" и смотрели на него, „точно столяры на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь".

Тем временем этот „сын народа", добывавший себе пропитание тяжелым физическим трудом, поступил в крендельное заведение на 3 рубля в месяц*). „Это была самая тяжкая работа из всех опробованных мною",—вспоминал Горький.

Тяжело было не только физически, но и морально. Подвал пекарни и четырнадцать часов ежедневной изнурительной работы отделяли Горького от тех разговоров, к которым он столь жадно прислушивался.

Этот период жизни Горького очерчен им в известных рассказах его „Хозяин", „Двадцать шесть и одна", „Коновалов".

Вскоре один из казанских жителей, А. С. Деренков, сочувствовавший революционной молодежи, открыл булочную и предложил Горькому, как „своему человеку", место подручного пекаря. В квартире Деренкова при булочной чаще всего стала собираться студенческая молодежь. Полиция нащупала „конспиративную булочную", и среди других подозрительных лиц был замечен и Пешков. Справка департамента полиции гласит, что Пешков был привлечен к ответственности по делу

*) До этого был еще садовником, дворником, хористом.

булочной, „но по недостаточности улик дело это в отношении его было прекращено".

Горький в своих воспоминаниях, относящихся к этому времени, рассказывает, как городовой „Никифорыч", вызывая его к себе, хотел выведать от него сведения об его знакомых и об'яснил ему сущность государственного строя.

„Прими государь-императора за паука... Незримая нить,— как бы паутина,—исходит из сердца его императорского величества государь-императора Александра третьего и прочая,—проходит она сквозь господ министров, через его высокопревосходительство губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью все связано, все оплетено, незримой крепостью ее и держится на веки вечные государево царство".

Горький сознается, что будочник решительнее и нагляднее, чем все его учителя-интеллигенты, об'яснил ему сущность полицейского государства.

То, что Горький в булочной Деренкова был „своим человеком",—не освобождало его от многочисленных и тяжелых обязанностей. Днем он разносил булки по городу, потом спал, вечером работал в пекарне, чтоб к полуночи выпустить в магазин сдобное,—публика после театра заходила есть горячие слойки. „Затем шел месить тесто для весового хлеба и французских булок, а замесить руками пятнадцать-двадцать пудов—это не игрушка. Снова спал часа два-три и снова шел разносить булки. Так изо дня в день".

Душевное состояние Горького становилось все более тяжким. Чтение книг и усиленная работа мысли оторвали его от людей его ремесла, репутация „самоучки и интересного парня из народа" ставила его на особое положение среди интеллигентов. Последние при знакомстве так и рекомендовали его друг другу.

— „Самородок",—говорили они,—с такой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой". Это очень тяготило Горького. Он к тому времени стал иронически относиться к их „революционности", и самого его все более охватывало сознание своей ненужности людям и запутанности своей жизни, может быть сказалось и физическое переутомление. 12 декабря 1887 года, купив на базаре старый и неуклюжий тульский револьвер (такими в свое время вооружали барабанщиков), выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце. Пуля, пробив легкое, засела под кожей спины, и рана зажила довольно быстро.

Это событие описано Горьким в рассказе „Случай из жизни Макара". Любопытен конец рассказа. Выздоравливая от ранения, Макар лежал в тягостном сознании одиночества.

Неискренние посещения его знакомых—барышни, студента медика нагнали на него тоску и новые упорные думы о смерти.

„...Но вдруг случилось что-то неожиданное и простое, что сразу поставило его на ноги: однажды в палату вошли трое знакомых людей—веселый, черный, как цыган, пекарь и еще двое: кособокий подросток, с лицом хорька, и здоровый, широкоплечий, сердито нахмурившийся парень.

Виновато улыбаясь, ласково моргая глазами, сконфуженные чистотою больницы, они остановились у двери, оглядывая койки. „Вон он“,—тихо вскричал пекарь, указывая пальцем на Макара и оскалив белые зубы.

Точно боясь проломить пол, они на цыпочках, гуськом подошли к нему, пряча за спиною темные руки с какими то узелками в них, двое улыбались ласково, третий—сумрачно и как бы враждебно.

— Во—он, он,— повторил пекарь, по-бабьи поджимая губы и дергая себя за черную бородку обожженной рукой в красных шрамах, а подросток уже совал Макару бумажный пакет и, захлебываясь словами, говорил тихонько, торопливо:

— Алимоны отличные... с чаем будешь...

— Здорово! — сказал широкоплечий парень, встряхнув руку Макара.—Ну—как? Похудел...

— Не больно!—подхватил пекарь.—Конечно—болезнь не ласкает, а ничего. Мы—поправимся, во—еще! На-ко-ся тебе: сушки тут осьмуха, ну—сахар, конечно...

— Курить—дают?—спрашивает сердитый парень, опуская руку в карман.

— Братцы, как я рад,—бормотал Макар, взволнованный почти до слез.

— Не дают—курить?—глядя в сторону, угрюмо допрашивал парень, шевеля рукою в кармане синих пестрядинных штанов.—Ну, пес с ними! Я и табаку припас, и леденцов: когда курить охота, ты—леденцы пососи, все легче будет... хотя и не то! Чистота у тебя тут, ну, ну-у...

Макар видел, что двое отчаянно притворяются веселыми и развязными, а третий, напрягаясь до пота, хочет казаться спокойным, и всем не удается игра: три пары глаз жалобно мигают, мечутся, бегая из стороны в сторону, стараясь не встречаться друг с другом и не видеть Макаровы глаза.

— Ну—спасибо!—бормотал он, задыхаясь. Они сели, двое на койку, один—на табурет, подросток превесело спросил:

— Когда на выписку?

Пекарь сказал:

— Чего спрашивать? Сам видишь—хоть сейчас!

А третий деловито посоветовал:

— Ты, брат, как снимешься, к нам вались!

И заговорили вперебой все трое:

— Конешно...

— Работу выищем полегче...

— Тут—праздники, рождество...

— Скучно лежал?

— Конечно, что спрашивать?

— Так-то вот...

Дрожащими руками Макар хватал их жесткие руки смеясь, всхлипывая...

— Ах, братцы... чорт возьми...

Они вдруг замолчали, и сквозь слезы Макар видел, что нарочитое оживление их исчезло, три пары глаз покраснели и вдруг за сердце его схватил тихий шопот:

— Э-э-х, ты. Как же это ты, а?

— Уда—арил ты на—ас...

Третий голос добавил так же тихо, но внушительно:

— А еще говорил,—братцы, говорил, правда говорил...

— Разве этак можно?

— Братцы, говорил, а сам?..“

Смеясь, плача, задыхаясь от радости, тискал он „две разные руки, ничего не видя и всем существом чувствуя, что он выздоровел на долгую, упрямую жизнь...“

„Снявшись“ с больницы, Горький вернулся в булочную, но пробыл там недолго. В начале весны один из посетителей квартиры Деренкова—Михаил Антонов Ромась—непохожий на других, серьезный революционер-народник, десять лет пробывший в Якутской ссылке, открыл в целях революционной пропаганды—мелочную торговлю. Лавка находилась в селе Красновидово, сорок пять верст ниже Казани по Волге,—и Ромась предложил Горькому ехать туда и помогать в работе. Дело пошло очень успешно: около лавочки Ромася быстро сгруппировались наиболее разумные мужики Красновидова, и это не могло укрыться от внимания местных кулаков и начальства.

Вскоре один из мужиков, наиболее близких Ромасю и Горькому,—Изот, был неизвестно кем убит и брошен в Волгу, в Ромася стреляли ночью из ружья; начинив порохом полено дров, взорвали печь в избе, занимаемой Ромасем, и, наконец, в июле, жарким утром—подожгли избу и лавку. Во время пожара, истребившего одиннадцать дворов, мужики пытались бить Ромася и Горького и, наверное, убили бы, но этого не случилось благодаря непоколебимому спокойствию Ромася и недюжинной силе Горького.

Пожар, конечно, разорил Ромася и принудил его уехать из Красновидова. Уехал он в Вятскую губернию все для тех же целей пропаганды среди крестьян. В 1892 г. Ромась был арестован в Смоленске, как организатор тайной типографии, по делу „народоправцев“ и второй раз сослан в Якутскую губернию на 10 лет. Горький встретился с ним еще раз много лет спустя в г. Седлеце, где Ромась жил, отбывая ссылку.

После разорения лавочки в селе Красновидово, Горький пробирается вниз по Волге до берегов Каспия и работает там в артели рыболовов, но вскоре же оказывается на новом месте: ночным сторожем на железнодорожной станции. В то время железнодорожное начальство Грязе-Царицынской ветки обратилось к поднадзорным и политически-неблагонадежным, проживавшим в том районе, с предложением поступать на службу.

Целью такого приглашения было желание привлечь возможно большее количество честных людей для борьбы с невероятным воровством. В числе других, холодной и дождливой осенью явился Горький. Ему дали место ночного сторожа погрузного двора на ст. Добринка. Какова была новая служба Горького, показывает один рассказанный им эпизод.

„Пришлось как-то раз караулить темной осенней ночью груды мешков с мукой. Погода стояла отвратительная, дул холодный ветер, шел проливной дождь. В степи тьма непроглядная, точно чернила. Вдруг ветром сорвало брезент с груды мешков. Делать нечего, пришлось лезть на груду, закрывать мешки. И вот, порывом ветра завернуло меня в брезент и бросило на полотно. Я так сильно ударился о рельсы или что-то другое, что сразу же лишился сознания. У меня образовалась какая-то странная болезнь; вся шея страшно распухла, в горле сделалось огромнейшее нагноение, которое едва не задушило меня. Когда доктор вскрыл нарыв, то гноя так много шло, что я боялся захлебнуться. Первое время я ничего не мог говорить. Когда потребовали от меня показание, то я дал его письменно. Говорить начал недели три спустя после этого, да и то шопотом. Думал, что навсегда потеряю голос. Но месяца через четыре появился голос, только уже не тенор, а бас".

Дежурить Горький должен был с 6 часов вечера до 6 часов утра. Когда же утром он приходил на станцию, кухарка начальника станции—женщина сердитая и придирчивая, заставляла его работать по хозяйству: выносить помои, колоть и таскать дрова, чистить медную посуду, топить печи, ухаживать за лошадьми и пр. Горький посылал в Борисоглебск начальству записки о своей „жизни и деятельности". В одной из них он писал:

„Живу попрежнему хорошо, с товарищами по службе сошелся, обязанности свои постиг в совершенстве, исполняю их в точности. Начальник станции много доволен и, в знак своего расположения и доверия ко мне, заставляет меня каждое утро выносить помои из его кухни. Прошу ответить, входит ли это в круг моих прямых обязанностей—таскать помои из кухни начальника станции?"

Горький написал еще прошение в стихах, изобразив все невзгоды своего места. Прошение имело успех: его перевели

на товарную станцию Борисоглебск, поручив ему хранение брезентов, мешков и починку их.

Служил еще Горький весовщиком на станц. Крутой, Волго-Донской ветви, откуда отправился в Нижний на призыв: ему шел двадцать второй год.

Отправился он пешком по пути Царицын—Борисоглебск—Тамбов—Рязань—Тула—Москва.

„Был конец сентября, землю щедро кропили осенние дожди, по щетинистым полям гулял холодный ветерок, леса были ярко раскрашены; очень красивое время года, но несколько неудобное для путешествия пешком, а особенно—в худых сапогах.

„На станции Москва-Товарная я уговорил проводника пустить меня в скотский вагон,—в нем восемь черкасских быков ехали в Нижний, на бойню. Пятеро из них вели себя вполне солидно, но остальным я почему-то не понравился, и они всю дорогу старались причинять мне различные неприятности; когда это удавалось им, быки удовлетворенно сопели и мычали.

А проводник, человечишко на кривых ногах, маленький, пьяный, с обкусанными усами, возложил на меня обязанность кормить спутников моих; на остановках он совал в дверь вагона охапки сена, приказывая мне:

— Угощай!

Тридцать четыре часа провел я с быками, наивно думая, что никогда уже не встречу в жизни моей скотов, более грубых, чем эти".

Приехав в Нижний, Горький поселился на одной квартире с Сергеем Сомовым, бывшим студентом, возвратившимся из административной ссылки в Сибири, и Акимом Чекиным, бывшим сельским учителем, состоявшим под негласным надзором полиции. 12-го октября 1889 года начальник нижегородского губернского жандармского управления ген.-майор Познанский получил из Петербурга приказ об ареста Сомова. Приказ этот доставил жандармскому генералу „известное удовольствие",—как выразился он в отношении своем нижегородскому губернатору, так как Сомов, Чекин и Пешков давно уже внушали ему подозрение, квартира их постоянно посещалась людьми „неблагонадежными": „прислуги они не держали и, уходя, всегда тщательно запирали квартиру, не позволяя даже прислуге домовладельца, г. Лика, прибрать комнаты".

Жандармский генерал не находил только достаточно законных оснований для обыска. 12-го октября, немедленно после получения приказа из Петербурга, он произвел обыск в квартире Сомова, но Сомова и Чекина в квартире уже не оказалось. Чекин за два дня перед этим уехал в Горбатовский уезд, а Сомов исчез часа за три до получения приказа

об его аресте. В бумагах, оставленных в квартире, ничего преступного обнаружено не было. Во время обыска вернулся в квартиру Горький и немедленно был подвергнут допросу. „Держал себя при этом Пешков в высшей степени дерзко и нахально“, — доносят жандармы своему начальству. От него добивались сведений, куда скрылся Сомов. Горький был посажен в тюрьму—и выпущен только тогда, когда получено было известие об аресте Сомова в Казани.

Тут же генерал Познанский дает такую характеристику Пешкова: „Полученный от начальника казанского губернск. жандармского управления ответ на запросы мои о Пешкове утвердил меня в давно составившемся у меня мнении о Пешкове, что он представляет собою удобную почву для содействия неблагонадежному люду России. Из этого отзыва я узнал, что Пешков служил в Казани в булочной, устроенной с неблагонадежными целями, что он был знаком в Казани с неблагонадежными личностями, что он в среде их имел особую кличку, что он читал сочинения особенного, не вполне желаемого и несоответствующего его развитию и полученному им образованию направления, но так как все это относилось к прежней жизни Пешкова и при обнаружении не было найдено достаточным для привлечения Пешкова к дознанию, то и я, разумеется, не нашел возможным основывать обвинение Пешкова на этом отзыве“.

„Незримая нить“—„паутинка“, по образному выражению будочника Никифорыча, напоминала Горькому о своем существовании.

Цеховой малярного цеха Алексей Максимович Пешков, как личность политически-неблагонадежная, был отдан под негласный надзор полиции. Дело же о нем было прекращено.

В солдаты Горького не взяли.

„Толстый, веселый доктор, несколько похожий на мясника, распоряжаясь точно боец быков на бойне, сказал, осмотрев меня:

— Дырявый, пробито легкое насквозь! Притом—расширена вена на ноге. Негоден!

Это крайне огорчило меня“.

После этого Горький записался было добровольцем в топографическую команду для отправки в Азию, но его не приняли, как „политически-неблагонадежного“.

Жизнь его попрежнему шла „путанно и трудно“. Он работал в складе пива, перекатывая в сыром подвале бочки с места на место, мыл и купорил бутылки. С весны стал развозить по лавкам баварский квас.

В этот год своего пребывания в Нижнем Горький познакомился с писателем В. Г. Короленко и с адвокатом А. И. Ланиным, к которому поступил письмоводителем. Оба они оказали на его умственный рост большое и благотворное влияние.

Вообще же к интеллигентам у него было попрежнему отношение двойственное. Среди „народников“ и „радикалов“ Горький „чувствовал себя, как чиж в семье мудрых воронов“. Он терялся в хаосе противоречивых мнений, среди мучительных противоречий между книгами и жизнью,—противоречий, которые Горькому необходимо было разрешить.

Он попрежнему жадно вслушивается во все разговоры, он „весь—одно большое, чуткое ухо“. „Говорят они легко и ловко, как будто бегают на коньках,—капризно рисуя замысловатые узоры слов“...

Но Горькому „неясно: почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своею духовной нищетой, диковинной скукой, а особенно—равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу“. Не умея разрешить своих сомнений, измученный неустройством своей личной жизни, Горький уходит из Нижнего „шататься по дорогам России, как перекати-поле“. В своей автобиографии он кратко говорит об этом: „В 1890 г. я почувствовал себя не на своем месте среди интеллигенции и ушел путешествовать“ *).

III.

„Хождение мое по Руси было вызвано не стремлением к бродяжничеству, а желанием видеть, — где я живу, что за народ вокруг меня“, — писал Горький в одном из своих писем.

Горький в течение почти двух лет исходил Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ, зарабатывая себе на хлеб самыми разнообразными работами и собирая огромный запас впечатлений. Эти странствия дали ему неистощимый материал для его рассказов.

Выйдя из Нижнего ранней весной, он шел по Волге до Саратова, 29 апреля был уже в Царицыне. Затем шел Донской областью, Украиной, был и в Бессарабии. 15 июля 1891 г. был в Херсонской губ. и в деревне Кандыбовке стал свидетелем публичного истязания женщины всей деревней,—сцены, описанной им в рассказе „Вывод“. Вмешавшись в эту гнусную расправу, он был до полусмерти избит мужиками.

Из Херсонской губернии через Перекоп, Яйлу, Симферополь, Ялту, Керчь, Кубань, Черноморье, Терскую область, и Военно-Грузинскую дорогу он пришел глубокою осенью 1891 г. в Тифлис.

---

*) Вероятнее—в 1891 году. *И. Г.*

Впоследствии, в целом ряде своих известных рассказов, Горький описал впечатления и встречи во время этих странствий. Среди них—замечательный рассказ „Мой спутник", описывающий путешествие автора из Одессы в Тифлис в обществе кавказца Шакро, — барченка, отбившегося от своей семьи. Автор вызвался помочь голодавшему, прокормил его своим трудом и довел до родины. Тот, искренно не понимая такого отношения и считая своего спутника и покровителя дураком, не только жил на его счет и обкрадывал его, но в дороге пытался еще оклеветать его и чуть не предал в одном опасном случае, а придя в Тифлис, бросил его в незнакомом городе, предварительно обманув.

„Я никогда больше не встречал этого человека,—заканчивает рассказ Горький, — моего спутника в течение почти четырех месяцев жизни, но я часто вспоминаю о нем с добрым чувством и веселым смехом.

Он научил меня многому, чего не найдешь в толстых фолиантах, написанных мудрецами,—ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей".

Любопытно, что когда Горький прославился, нашелся некто Цулукидзе, рассказавший в одной грузинской газете о путешествии будущего писателя из Одессы в Тифлис. По его словам, из Одессы они вышли с Горьким 18 августа в 12 часов дня, в Николаеве они были через семь дней, оттуда направились через Херсон, Симферополь, Ялту, Феодосию, Керчь, Владикавказ—в Тифлис. Некоторые подробности рассказа Цулукидзе почти буквально совпадают с рассказом Горького, особенно же то, что, по признанию Цулукидзе, „один Пешков доставал и деньги, и еду", жалея своего спутника и говоря ему: „Ты не привычен к нужде". Цулукидзе, как и Шакро в „Моем спутнике", подойдя к Тифлису, не хотел войти в него засветло, боясь встретить знакомых, и войдя в город ночью, как-то (Цулукидзе неясно об'ясняет почему) разошелся с Пешковым. Когда „Мой спутник" появился на грузинском языке, Шакро-Цулукидзе, послуживший оригиналом, с которого Горький списал незабываемый образ своего „спутника", очевидно, решил напечатать возражение,—оно послужило лишь подтверждением рассказа Горького.

Неутомимо странствуя по русским дорогам, Горький не перестает искать ответа на запросы, волновавшие его ум. Однажды он „пережил яростный взрыв религиозного настроения, шлялся по монастырям, беседовал со схимниками—не помогло". Зато жизнь обогащала его все новыми впечатлениями.

Так, в Гори, — уездном городе Тифлисской губернии,— Горькому пришлось быть свидетелем смертной казни над двумя кавказскими разбойниками.

Он описал эту казнь в очерке, не вошедшем в собрание его сочинений.

„Выбрали праздник для того, чтобы повесить людей, и толпа горцев была разодета по-праздничному ярко, настроена шумно и жизнерадостно. Окружая два столба с перекладиной, утвержденные на грубо сколоченном помосте, люди пестро одетые, стройные и смуглые, оживленно сыпали в воздух гортанные слова, адресуя их к двум высоким ребятам, стоявшим на помосте. Один из них, рыжеватый имеретин, в рваной куртке, обнажавшей жилистую шею и крепкую грудь, облокотясь о перила и улыбаясь, беседовал с людьми, пришедшими посмотреть, как он умрет; другой, весь черный, тоже рваный, похожий на большую головню, стоял под виселицей и покручивал одной рукой усы, другой оправлял петлю, уже накинутую ему на шею. Сзади его стоял коренастый палач, человек с лицом монгола, страшно обезображенным сифилисом, и узенькими глазами смотрел в лица публики, показывавшей ему кулаки, посылавшей ругательства. Загорелые русские солдатики, держа ружья на-плечо, стоя со скучными лицами, точно деревянные, или вкопанные в землю, смотрели перед собой ничего не выражавшими глазами. У самого помоста стояли власти в мундирах с сухими и строгими физиономиями, и среди яркой, говорливой толпы их оффициальные фигуры были чем-то беспочвенным и чуждым всему, что окружало их. Один из этих людей что-то монотонно читал, держа перед своим лицом лист бумаги, и иногда смахивал этим листом капельки пота со лба, набегавшие ему на брови. Вот он кончил... Палач полез наверх по одному из бревен, уселся на перекладине верхом и стал что-то мастерить там, громко и зло хохоча и подмигивая зрителям.

Приговоренный к смерти поднял голову вверх и посмотрел на него. Но на этом смуглом, почти черном лице, отражалась скорее усталость и скука, чем страх перед будущим. Священник с красным лицом, толстый и большой, взошел на помост, и доски скрипели под тяжестью его тела. Палач опустился вниз, ударив ногами о помост, что-то сказал преступнику, и вокруг помоста говор стал тише.

Черному человеку палач связал за спиной руки и посмотрел себе под ноги. Этот человек чмокнул поднесенное ему к устам изображение распятого за грехи людей, изображение беспристрастного судьи всех судей, чмокнул и вспрыгнул на табурет. Палач присел зачем-то, тогда преступник сам спрыгнул с табурета и, не достав ногами до помоста,— повис в воздухе. Одно мгновение он висел неподвижно, потом задвигался связанными руками, весь вздрогнул и вдруг, дрыгая ногами, стал извиваться в воздухе. Лицо у него стало красное и странно надулось, точно вспухло все сразу.

Толпа глухо гудела. Многие сняли шапки... Кто-то пронзительно и заунывно запел.

— Хорули! — вдруг крикнул толпе другой осужденный, указывая на товарища, все бившегося в воздухе. Раздался смех: хорули—гурийский танец.

Человек, которому через минуту предстояло тоже „танцовать" в воздухе этот хорули, сплюнул в сторону и улыбнулся, вставая под перекладину и осторожно поглядывая на ноги товарища, все еще судорожно вздрагивающие в воздухе. Очевидно, он боялся, что повешенный товарищ заденет его своими босыми ногами.

— А ты, Васо, давай перхули!—крикнул кто-то из толпы по-русски. Васо кивнул головой. Перхули тоже танец. Васо вязали руки, и он что-то серьезно говорил палачу, указывая кивками головы куда-то на толпу. Она опять замолкла. Вот Васо кивнул головой направо... налево...

— Прощай!—крикнули два-три голоса по-грузински. Снова головы обнажились.

И Васо начал танцовать перхули... Когда же он неподвижно повис рядом с товарищем, причем головы обоих их свесились на грудь и шеи странно выгнулись,—толпа стала расходиться".

В Тифлисе Горький поступил на службу в железнодорожные мастерские. Это время для биографии писателя интересно тем, что Горький впервые завязывает здесь новые общественные связи.

Он заводит обширное знакомство с рабочей молодежью, перепиской поддерживая отношения и с другими городами.

Так, напр., в 1892 г., при обыске в Ростове-на-Дону по делу о распространении „преступных изданий", у двух лиц оказались письма Горького, в одном из которых он выражается так: „Поливаю из ведрушка просвещения доброкачественными идейками и таковые приносят известные результаты". Причем добавлял, что, „работы пока нет, и работников, способных к чему-нибудь, всего 6—8 человек". В другом письме Горький просил достать место двум парням, рекомендуя их как лиц „способных на всякие преступления", и прибавляя, что он и его товарищи ожидают визита „блестящих пуговиц" (т. е. жандармов).

К этому делу Горький привлечен не был, но о нем помнили: в том же 1892 г. он был арестован в Майкопе по делу о казачьем „чумном бунте".

Душевные метания Горького приходят к концу и, по всем вероятиям, именно эпоха его пребывания на Кавказе послужила переломным временем в его жизни. Здесь он впервые примыкает к рабочему движению, правда, еще весьма слабым его проблескам.

С другой стороны, в это же время Горький впервые выступает как писатель: в Тифлисе 12 сентября 1892 г. в № 242 газеты „Кавказ" появляется его первый рассказ „Макар Чудра". Написан он был, благодаря бывшему политическому каторжанину А. М. Калюжному—человеку, которого Горький считал своим третьим учителем после Смурого и Ланина. С ним он и познакомился в Тифлисе. Горький стал рассказывать Калюжному то, что ему пришлось услышать во время своих скитаний от одного старого цыгана. Калюжный запер Горького в комнату, приказав ему записать то, что он рассказал. Так был написан первый рассказ Горького. Он сдал его в редакцию без подписи; когда ему указали на это, он сказал: „Хорошо... подписывайте так: Максим Горький... М. Горький..."

Один из тифлисцев, встречавших в ту пору Горького, оставил нам описание его внешности: „юноша высокого роста, широкоплечий, атлетического сложения, с широким, грубоватым, чисто русским лицом, с длинными волосами... лицо было не из веселых; умные, вдумчивые глаза его выражали силу и присутствие большой воли".

Он обладал огромной физической силой, которую обнаружил во время дежурств у душевнобольного рабочего Читадзе. Гиго Читадзе—тоже одно из знакомств Горького в революционно-рабочей среде—был очень интересной фигурой; сын крестьянина, один из первых пропагандистов марксизма среди тифлисской молодежи и рабочих, он был весьма популярен именно среди рабочих, имел также знакомства с осужденными революционерами-народовольцами.

От усиленной работы и голода Читадзе сошел с ума. В течение трех недель его не принимали в больницу: сначала около него поочередно дежурили товарищи, но потом они разбежались, утомленные и испуганные припадками его безумия, избитые им. Горькому пришлось провести с ним один на один девять дней. Несколько раз он пытался убить Горького. Особенно мучительной была последняя ночь дежурства. Был момент, когда больной быстро поднял деревянную кушетку, сломал ее и с доской в руках кинулся на присутствовавших, но Горький удержал его, и больной опять очутился в постели связанным.

Случай с Читадзе дал Горькому тему для рассказа „Ошибка".

С последним пароходом, поздней осенью 1892 года Горький уехал в Нижний. Он был вызван телеграммой Ланина, к которому опять поступил письмоводителем.

IV.

Горький приехал в Нижний, по собственным словам его, „изнемогая от пестроты и тяжести впечатлений бытия", „чув-

ствуя себя богачем, который не знает, куда девать нажитое, и бестолково тратит сокровище, разбрасывая все, что имел, всем, кто желал поднять брошенное."

„Я не столько рассказывал о своих впечатлениях, сколько спрашивал, что они значат, какова их ценность".

В таком настроении Горький опять стал посещать В. Г. Короленко,—четвертого своего учителя, после Смурого, Ланина и Калюжного.

Не имея работы, Горький стал сотрудничать в казанской газете „Волжский Вестник", посылая туда мелкие рассказы и очерки. Но в свои силы писателя Горький еще не верил. В одном из рассказов, имеющем автобиографическое значение („Вечер у Шамова"), он писал: „Печатаю в плохонькой местной газете косноязычные рассказы и убежден, что печатать их—не следует, что ими я оскорбляю литературу, которую люблю страстно, как женщину. Но—печатаю. Надобно есть".

В эти годы Короленко явился его внимательным и осторожным руководителем - другом, чем выгодно отличался в его глазах от многочисленных „учителей" — интеллигентов. Эти учителя приносимый Горьким материал его впечатлений „кроили и сшивали, сообразно моде и традициям тех политико-философских фирм, закройщиками и портными которых они являлись".

Короленко одобрил известный рассказ Горького „О чиже, который лгал, и о дятле, любителе истины",—одна из первых его вещей, напечатанных в „Волжском Вестнике",—выделил рассказ „Дед Архип и Ленька", напечатанный в нижегородской газете „Волгарь" через полгода после этого. Но он же не щадил Горького, когда тот писал неудачные вещи, прикрашенные и сантиментальные.

В 1893 г. появился рассказ Горького „Исключительный факт", в котором изображено, как мужики плакали над могилой интеллигента, высоко оценив его культурную роль. Рассказ был написан под впечатлением смерти известного нижегородского культурного деятеля А. С. Гацисского. Короленко, пристально следивший за деятельностью молодого писателя, при встрече с Горьким сказал ему добродушно:

— Ну, это вы плохо сочинили. Такие штуки не надо писать.

Еще летом 1893 г. Горький послал в московскую газету „Русские Ведомости" очерк „Емельян Пиляй", содержащий рассказ одного босяка и относящийся ко времени странствований Горького по берегам Черного моря. Очерк был напечатан.

Однажды Короленко посоветовал Горькому написать большой рассказ для журнала. „Напечатают вас в журнале, и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно",—говорил он.

Горький пришел домой и тотчас же сел писать. Через два дня появился „Челкаш", темой которому послужил рассказ одесского босяка, соседа Горького по койке в больнице города Николаева. „Челкаш" был напечатан в „Русском Богатстве" в 1895 г., первый рассказ Горького в толстом журнале.

В том же 1895 году появился рассказ „На соли", не вошедший в собрание сочинений Горького, и тоже, как и другие рассказы этого периода, имеющий автобиографическое значение. В нем рассказывается о случае с Горьким на соляных работах *).

Горький впервые встретил тут несправедливое, злое к себе отношение со стороны „босяков". Рабочие подстроили так, что когда Горький взялся за тачку, ему защемило руки. „Острая боль в ладонях заставила меня дико вскрикнуть и, бросив тачку, рвануть руки к себе... Боль повторилась вдвое и сильнее; я сорвал с ладоней обеих рук кожу, защемленную в ручках тачки".

„Крики, хохот и свист летели мне в лицо со всех сторон, везде я видел злые торжествующие рожи".

„Я смотрел кругом тупо и бессмысленно и чувствовал, как внутри все сильнее вскипает обида, желание мести и ненависти к этим людям".

Горький бросился в отчаянии на землю и сквозь слезы сказал:

— За что вы меня обидели?

Тогда рабочие с серьезными лицами столпились вокруг него, и один из них сказал наконец:

— Ты пойди от нас своей дорогой, куда надо!

И Горький ушел, тронутый сердечным прощанием босяков, которые так ему и об'яснили, что они уже перестали быть людьми на этой жестокой работе.

В Нижнем Горький жил попрежнему бедственно. За два рубля в месяц он снял старую баню в саду у пьяного попа, над грязным оврагом. В двух низеньких комнатах бани стоял запах мыла и прелых веников,—гнилой запах, отравлявший кровь.

Углы комнаты промерзали насквозь. „В этом жилище даже мышам холодно и плохо,—ночами они залезают ко мне на постель". „Работая, я окутывался всей одеждой, какая была у меня, а сверх ее—ковром, и все-таки приобрел серьезнейший ревматизм. Это было почти сверх-естественно при моем здоровье и выносливости, которыми я в ту пору обладал и хвастался".

Между тем Горький все более утверждался в мысли, что иного места в жизни, кроме литературы—для него нет. Короленко убедил его ехать в Самару на постоянную литера-

*) „На соль" предлагает Горькому отправиться и Емельян Пиляй.

турную работу. Редактор „Самарской Газеты“ предложил ему 100 руб. в месяц за ежедневный фельетон и, кроме того, по 3 коп. за строку беллетристики. 20 февраля 1895 года он проехал в Москву, а оттуда в мае — в Самару. Поселился Горький на Вознесенской улице в полугоре над Волгой в мещанском в три окна домике, принадлежащем некоему самарскому итальянцу Перини. Квартиру со столом снимал у одного частного поверенного за 25 руб. в месяц. Квартира помещалась в сыром и темном подвале.

В бытность свою в Самаре Горький написал до 20 рассказов (среди них: „Дело с застежками“ и „Однажды осенью“) и 181 фельетон. Фельетоны Горький писал под псевдонимом Иегудиил Хламида и под общим названием „Между прочим“. Темами для них служили: самарская конка, непорядки в городской управе, скверные поэты, летний театр, вечер книгопечатников и пр. Иногда Иег. Хламида оживлялся, громя какого-нибудь лавочника, избившего мальчика. Но вообще Иег. Хламида, видимо, тяготился положением поставщика ежедневных фельетонов; напр., в номере от 25 августа 1895 г. жаловался: „Оказывается, что жизнь за истекший день, как и за все ранее истекшие два года, никуда не подвинулась. То-есть, в ней есть движение, но это только потому, что она разлагается. Видишь это и думаешь: „Весьма печально, но вполне естественно“.

Жалуется Иег. Хламида и на то, что живет среди людей, „которым решительно все равно, обличают их в газете или нет, ибо они грамоты не знают и по сей причине газет не читают“.

Кроме отдела „Между прочим“, Горький писал также почти ежедневно (без подписи) „Очерки и наброски“. По всем этим фельетонам видно, как сера и скучна была самарская жизнь.

Однако, жизнь в течение года в Самаре не прошла бесследно для творчества Горького: воспоминанием о ней вызваны его романы „Фома Гордеев“ и „Трое“.

В 1896 году Горький женился на Екатерине Павловне Волжиной, служившей в „Самарской Газете“ корректоршей, и 14 мая того же переезжает опять в Нижний, где становится сотрудником „Нижегородского Листка“.

В этой газете появляется целый ряд его рассказов и фельетонов; для последних богатую пищу давала бывшая в 1896 г. в Нижнем-Новгороде Всероссийская выставка... Горький пишет на самые разнообразные темы и, между прочим, в критических фельетонах выступает с резкими выпадами против представителей новых течений искусства. Картины Врубеля, стихи символистов он рассматривает, как упадочное искусство, и пишет по этому поводу: „В жизни достаточно непонятного и туманного, болезненного и тяжелого и без фабрикатов фирмы Врубель, Бальмонт, Гиппиус и К°. Жизнь требует света, ясности и нимало не нуждается в туманных и некрасивых картинах и в нервно-болезненных стихах, лишенных всякого социологического значения и неизмеримо далеких от истинного искусства“.

Здесь характерно это настойчивое сопоставление жизни и искусства. Писатель, вышедший из низов жизни, прошедший тяжелую и жестокую школу борьбы, проникается страстным желанием внести свет в эти низы и требует от „истинного искусства“ прежде всего деловитости и ясности.

Переутомленный работой во время Всероссийской выставки, Горький заболел туберкулезом легких и 8 октября 1896 г. слег в постель, а в декабре был отправлен в Крым.

Он поселяется там в пансионе негласно поднадзорной Марии Водовозовой, дававшей приют „неблагонадежным“. Это было сейчас же замечено полицией, которая еще в 1894 г.— во время пребывания Горького в Нижнем—отметила, что он продолжает после дел 1889 и 1892 г.г. сношения с „неблагонадежными лицами“. Весной 1897 г. Горький из Крыма отправляется в село Мануйловка, Полтавской губернии, Кременчугского уезда, где устраивает деревенский театр. В нем играют главным образом крестьяне-украинцы. Один из них— Сергей Бородин, прекрасно изображавший парубков в пьесах Карпенко-Карого, Кропивницкого и др., попав в солдаты, пристрастился к богослужению в полковой церкви и стал священником. Его брат был замечательным комическим артистом. Когда Карпенко-Карый в 1899 г. приехал с труппой своей в Мануйловку, чтобы посмотреть мужицкий театр—он до такой степени был увлечен игрою Якова Бородина, что со слезами и на коленях уговаривал его вступить в труппу и ехать в Киев, бросив крестьянство. Бородин—зажиточный, семейный мужик—не соблазнился славою актера.

Во время пребывания в Мануйловке Горький написал свой известный очерк „Ярмарка в Голтве“.

Зиму 97—98 г.г. Горький жил в Осташковском уезде, Тверской губ. на писчебумажной фабрике Кувшинова у своего приятеля, лаборанта фабрики Н. З. Васильева; в мае 1898 г. у Горького в Нижнем, по требованию начальника тифлисского губ. жанд. управления, произведен обыск, сам он был арестован и отправлен в Тифлис, где месяц просидел в Метехском замке. По данным департамента полиции, „Пешков вновь привлекался по обвинению в принадлежности к тифлисскому кружку, занимавшемуся пропагандой среди рабочих, но дело это в отношении его прекращено“.

Из Тифлиса Горький прислал в „Нижегородский Листок“— „Праздник шиитов“—интересную корреспонденцию, описывающую кавказский праздник—дни Али, зятя Магомета, и сына Али-Хуссейна—17—19 мая. 22 мая Горький из Метех-

ского замка, который стоит на высокой скале над Курой, видел похороны шиита, забившего себя на смерть.

Около того же времени Горький пишет рассказ „Встряска“ (эпизод из Мишиной жизни), не вошедший в собрание его сочинений и несомненно имеющий автобиографическое значение. Мальчик из иконописной мастерской, Мишка пошел однажды в цирк и после „темной и грязной мастерской“ был поражен блеском, шумом и особенно клоуном с размалеванным лицом, в белом колпаке и красном с золотом костюме. Когда представление кончилось и Мишка вышел на улицу, он увидел клоуна, уже переодетого в обычный костюм и ничем не отличающегося от других людей. Мишка искренно огорчился, зачем клоун не ходит по улицам с размалеванным лицом, в белом колпаке и в красном с золотом костюме—как в цирке. В мастерской он напрасно пытался рассказать и представить в лицах хозяину и работникам чудеса, которые он видел в цирке. Хозяин задает ему „встряску“, но в сердце Мишки остается образ клоуна и праздничное впечатление от блеска и шума циркового представления. И мечты об этом скрашивают тяжелую Мишкину жизнь.

Летом 1898 г. Горький снова жил в Мануйловке и до ноября занимался театром. Когда он уезжал, мужики-актеры устроили ему в сельской чайной торжественный, задушевный обед, пели песни и наконец поехали всей массой провожать Горького за 15 верст на ст. Голещина. По дороге большинство из них от огорчения вином и разлукой исчезло, разбрелось во все стороны, и Горького трогательно провожали только братья Бородины, превосходный резонер и деревенский кузнец Петр Деридо, да еще два-три артиста.

К этому времени Горький становится писателем, уже хорошо известным в столичной литературной среде. Он заводит прочные связи с толстыми журналами, особенно с марксистским „Новым Словом“, куда он дал „Коновалова“, исковерканного цензурой, и „Бывших людей“. В „Русской Мысли“ были напечатаны его „Супруги Орловы“, в „Северном Вестнике“—„Озорник“ и „Мальва“.

Как ценили Горького в Петербурге—показывает его литературная переписка.

По поводу „Бывших людей“, напр., редакция „Нового Слова“ писала ему:

„Редакция шлет Вам живейшую благодарность за присланную рукопись „Бывшие люди“. Талантливых писателей, могущих влиять на читателя верностью и глубиной художественных образов, так немного в настоящее время в нашей русской литературе, что, само собой понятно, насколько для редакции „Нового Слова“ важно и желательно Ваше постоянное сотрудничество.

„Ваш „Коновалов“ даже в том виде, в каком он появился после возмутительной операции *), все же производит сильное и цельное впечатление на многотысячного читателя“.

Меж тем, сам Горький, твердо став на писательский путь и неутомимо работавший, не был удовлетворен своими произведениями, хотя уже был напечатан ряд вещей, доставивших ему вскоре славу. В 1897 году проф. С. А. Венгеров, по указаниям Н. Ф. Анненского, В. Г. Короленко и С. С. Протопопова, обратился к „писателю-самоучке“ Пешкову с просьбой прислать автобиографию и произведения. Пешков-Горький, писатель с „очень неуравновешенным талантом“—как рекомендовали его проф. С. А. Венгерову—прислал из Крыма, где он проживал в ту пору, краткую автобиографию, причем в конце приписал:

„До сей поры еще не написал ни одной вещи, которая бы меня удовлетворяла, а потому произведений моих не сохраняю— ergo: прислать не могу“.

И не только сам Горький, но и поощрявшие его литераторы не предугадывали его судьбы, а один из них на вопрос С. А. Венгерова выразился так:

„Человек с талантом, хотя, несомненно, ничего крупного из него никогда не выйдет“.

V.

Превращение „писателя-самоучки“ во всероссийскую, а затем и в мировую литературную славу произошло через год после этого отзыва.

Еще 7 января 1898 года член редакции „Нового Слова“, А. Калмыкова писала Горькому:

„Пора вам издать сборник своих произведений. Ведь, на книгу формата соч. Гаршина или Чехова наберется наверно слишком. Теперь самая пора. Вами заинтересовались: читатели ищут Вас по книгам старых журналов, а коллеги-писатели отзываются о Вас с осторожностью. И читателям книга нужна, и Вам—деньги. Пора“.

Вскоре Горький получил от одного издательства предложение издать его рассказы, и в середине 1898 года вышли два томика. Книги были расхватаны в несколько месяцев. Успех их был необычайный. О молодом писателе заговорили. Вскоре потребовалось новое издание сочинений Горького. Вышли три тома с увеличенным тиражем, и тоже быстро были распроданы.

„Впервые за все время существования русской книжной торговли томики Горького стали расходиться в десятках тысяч экземпляров, скоро достигнув колоссальной цифры—100.000“ (С. Венгеров).

*) „Коновалов“ был искромсан цензурой *И. Г.*

Помимо того, что рассказы Горького, собранные вместе впервые, обнаружили огромный художественный талант его во всем об'еме, причины успеха крылись еще и в состоянии общественной жизни страны. То было время, когда после поражения революционной интеллигенции в лице „народовольцев" общее уныние охватило все передовые слои общества. Стали склоняться к мысли, что вообще никакая идейная деятельность и борьба не нужны, что каждый „должен жить в своей скорлупе и делать свое маленькое дело по мере своих сил и возможности".

На фоне этого упадочного настроения интеллигенции процветала хищная буржуазия торгового и промышленного капитала, а за ней тянулось богатейшее кулачество и мещанство.

Только группа первых марксистов (Г. Плеханов, П. Аксельрод, В. Засулич), разошедшаяся в понимании революционного дела с народниками, неустанно продолжала учить, что борьба—еще впереди, что нужно готовиться к грядущей революции, во главе которой пойдет не крестьянство, как думали народники, а новый класс—организованный пролетариат. Ко времени выступления Горького, общественная жизнь России сдвинулась с мертвой точки. Голод 1891—92 годов, обрушившийся на страну громадным бедствием, пробудил от спячки лучшие силы интеллигенции, вызвав организацию помощи голодающим, и вместе с тем заставил ее снова убедиться в невозможности настоящей общественной работы в тисках полицейско-бюрократического режима. С другой стороны, промышленный под'ем, наступивший в 1894 г., вызвал еще небывалое по своим размерам в России рабочее движение, сопровождавшееся массовыми стачками и жестокими репрессиями правительства. Оправдывалось предсказание марксистов о значении рабочего класса в грядущей революции. И вот, в эту-то эпоху общего брожения и накопления сил для будущей борьбы и явился Горький. Все современники помнят его первые выступления и свидетельствуют о том необычайно бодром и радостном впечатлении, которое оставляли его рассказы.

Героями своих произведений Горький избрал до той поры в русской литературе людей невиданных. Его „босяки" и „бывшие люди"—люди, добровольно покинувшие мещанскую среду ради вольных скитаний, или выброшенные разоряющейся деревней и не ужившиеся в городе в тисках промышленного капитала,—все они, однако, несмотря на горчайшие жизненные испытания, проникнуты упорством воли, протестом против всякого гнета и жаждою жить во что бы то ни стало. Эти настроения, этот призыв к бодрости и жизни совпал с общественным под'емом страны и создал Горькому необычайную популярность.

В 1899 году Горький был уже знаменитым человеком. Одновременно с этим для него самого становится яснее тот путь, которым он должен итти, и то значение, которое могут иметь в жизни страны его произведения. По словам одного из современников, он „как-то выпрямился во весь рост, натянулся как струна. Внешняя чудаковатость и мешковатость исчезли. Высокий, плечистый, мужественный, в своей неизменной черной рубашке из сукна, он имел бравый и зоркий вид рулевого, вышедшего со своим кораблем из тумана и уверенно держащего курс".

Весь этот год Горький живет в Нижнем. Помимо литературной работы, пользуясь известностью в родном городе, он занимается и культурно-общественной деятельностью. Организует сбор учебных пособий для детей, призывает жертвовать на бесплатный каток, заботится о снабжении местных школ картинами, наконец, на рождестве устраивает для нижегородских малышей грандиозную елку.

Елки эти устраивались потом ежегодно; на них присутствовало до 1000 и более детей, которые получали одежду и пр.

В Нижнем дом Горького служил местом паломничества для обывателей. Целый день толокся тут народ. Бывали курьезные посещения: приходил, напр., пристав, сочинявший стихи. Скиталец—известный писатель,—сочинил даже комическую оперу, в которой Горький пел арию:

С тех пор, как стал я знаменитым,
Я щей горячих не хлебал.

Бывал у Горького и Леонид Андреев, в то время бывший еще судебным репортером газеты „Курьер".

К дому Горького привлекал и бывший в большой дружбе с писателем Шаляпин, пение которого собирало обыкновенно под окном толпы народа.

С Шаляпиным судьба сталкивала Горького еще в Казани. Горький был в ту пору булочником, Шаляпин—сапожником. В Тифлисе они также жили вместе. Горький работал тогда в железнодорожных мастерских, Шаляпин был хористом. Известен анекдот о том, как в Казани Горький и Шаляпин нанимались в хористы и как Шаляпину было отказано, а Горький был принят.

Судьба этих двух людей очень сходна. Колоритная биография Шаляпина—та же „волшебная сказка" *), что и биография Горького; тот же скачек из сапожников в мировые знаменитости, что и превращение „босяка" во всемирно-известного писателя.

С 1900 года положение Горького делает его жизнь вполне обеспеченной, но в сравнении с тяжелыми годами его юности—менее богатой внешними событиями.

*) Выражение критиков, писавших о Горьком.

Популярность его росла все более. В столицах в честь Горького организовывались литературные вечера, о нем читались лекции; редкая книга о литературе обходилась без подробного анализа его произведений. Одновременно появляются многочисленные переводы его сочинений на иностранные языки. Интерес к „знаменитому босяку“ проявлялся огромный. Когда художник И. Е. Репин выставил в конце 1900 г. на передвижной выставке картин в Одессе портрет М. Горького, портрет этот стал „гвоздем“ выставки. Публика, — особенно молодежь, — с жадным вниманием всматривалась в черты прославленного писателя.

На почве чрезвычайной популярности Горького случался целый ряд комических анекдотов. Однажды, напр., в Москве на Чистопрудном бульваре гуляющие приняли какого-то человека за Горького. Человек этот, действительно, имел несчастье быть похожим на писателя. С возгласами: „Горький! Горький!“—зеваки следовали за неизвестным. Тот долго терпел, но, наконец, не выдержал и, дойдя до Харитоновского переулка, обернулся и сказал:

— Я паликмахер, а вы—шуты гороховые!

В другой раз какая-то дама, приняв за Горького одного молодого человека, шедшего по улице со своей женой, бросилась его целовать, восклицая: „Великий Максим Горький, прими от меня поцелуй за твою великую драму „На дне“!

Босяки просили на косушку именем Горького. Во многих местах появились лже-Горькие.

Когда в 1901 г. Горький приехал в Петербург, ему пришлось испытать на себе всю силу обывательской пошлости, назойливости и глупости, которые сопровождали рост его известности.

„Я был „в моде“, меня одолевала „слава“, основательно мешая мне жить“, — писал он в своих воспоминаниях.—„Популярность моя проникла глубоко. Помню, шел я ночью по Аничкову мосту, меня обогнали двое людей, видимо парикмахеры, и один из них, заглянув в лицо мне испуганно, вполголоса сказал товарищу:

— Гляди—Горький!

Тот остановился, внимательно осмотрел меня с ног до головы и, пропустив мимо себя, сказал с восторгом:

— Эх, дьявол,—в резиновых галошах ходит.

В числе множества удовольствий я снялся у фотографа с группой членов редакции журнала „Начало“, среди них был провокатор и агент охранного отделения М. Гурович“.

Репортеры осаждали писателя, следуя за ним по пятам, и не давали ему покоя. Один из них описал в „Петербургской Газете“, как Горький ест сардинки; каждое слово писателя подслушивалось, каждый поступок раздувался в событие. Этот интерес к самой личности писателя был

причиной известного инцидента в Московском Художественном Театре. Горький, будучи в Москве, пришел однажды на представление пьесы Чехова „Дядя Ваня“. А. П. Чехов, в то время уже больной,—тоже пришел в театр. Публика, увидев Горького, толпами ходила за ним в антрактах, явно и, как показалось Горькому, даже демонстративно игнорируя присутствие Чехова. Наконец публика стала ломиться в ложу, где сидели писатели, сломала ручку двери; тогда Горький не выдержал и обратился к публике с резкой отповедью.

Журналисты подхватили этот случай, и на Горького посыпались обвинения в грубости и позерстве.

Горький вынужден был письмом в редакцию „Северного Курьера“ восстановить правду. Письмо было следующее:

М. Г., г. редактор!

Пожалуйста, напечатайте нижеследующее:

Кто-то из публики напечатал на-днях в „Новом Времени“ заметку о разговоре моем с лицами, находившимися в коридоре Художественно-Общедоступного театра в Москве. Автор заметки говорит, что он присутствовал при этом лично, но я думаю, что это неправда, или он не слышал, потому что слова мои он приводит в совершенно искаженной передаче московской газеты „Новости Дня“.

Говоря с публикой, я не употреблял грубых выражений: „глазеете“, „смотрите мне в рот“, не говорил, что мне мешают пить чай с А. П. Чеховым, которого в это время тут не было, ибо он сидел за кулисами.

Я сказал вот что:

Мне, господа, лестно ваше внимание, спасибо!—Но я не понимаю его. Я не Венера Медицейская, не пожар, не балерина, не утопленник; что интересного во внешности человека, который пишет рассказы? Вот, я напишу пьесу—шлепайте сколько вам угодно. И как профессионалу-писателю мне обидно, что вы, слушая полную огромного значения пьесу Чехова, в антрактах занимаетесь пустяками“. Сказав так, я извинился, хотя этого не надо было делать. Этим письмом я только протестую против искажения моих слов, но не извиняюсь. А газетчиков, раздувших это пустяковое происшествие, я от души спрашиваю,—неужели вам, господа, не стыдно заниматься подобными пустяками?

М. Горький.

После этого, в ответ на непрекращающиеся нападки и обвинения, М. Горький написал разошедшийся в гектографиях рассказ „О писателе, который зазнался“, где так говорит об отношении публики к писателю:

„Мне кажется,—пишет он,—будто вы меня за то любите, что я не ношу сюртука и в своих рассказах употребляю неприличные слова. И порой мне кажется, что если бы я

научился лирические стихи писать левой ногой, вы бы еще теплее, еще с большим вниманием отнеслись бы ко мне"...

Эпизод в Художественном театре долго служил темой для газетных фельетонов, а обвинения в грубости неоднократно поднимались потом при каждом резком выступлении Горького. Людская пошлость, сновавшая вокруг возрастающей популярности Горького, была тем более отвратительной, что именно в это время надвигались в России события огромного значения. Страна просыпалась, и бюрократические скрепы начинали трещать.

4-го марта 1901 г. происходит известная студенческая демонстрация у Казанского собора и избиение демонстрантов казаками. Горький, возмущенный этой расправой, в числе других подписал по поводу избиения протест Союза Писателей. Тогда же в журнале „Жизнь" появляется „Песнь о Буревестнике" Горького, навеянная событием 4 марта и имевшая огромнейшее влияние на читателей революционной России. С этого начинается открытое выражение Горьким своего сочувствия надвигающейся революции.

„Буревестник"—птица, призывающая бурю, а то, что „буря" аллегорически означает „революцию"—это было для всех ясно. В „Буревестнике" с наибольшей полностью сказался тот романтический, бунтарский, революционный дух, которым проникнуто было творчество Горького. „Песнь о Буревестнике" навсегда закрепила за Горьким симпатии революционеров и усилила по отношению к нему бдительность полиции. Еще в марте охранка заносит в свои сведения, что он принимал участие в агитации и возбуждении общества по поводу избиения демонстрантов 4 марта.

Директор департамента полиции Зволянский в секретном сообщении начальнику нижегородского губернского жандармского управления так характеризует деятельность Горького:

„В 1897 году Пешков привлекался к дознанию по обвинению в принадлежности к образовавшемуся в гор. Тифлисе кружку лиц, занимавшихся преступной пропагандой среди рабочих. По словам допрошенных по сему делу свидетелей Громзина и Магалова, Пешков занимался пропагандой среди рабочих и очень часто, много и резко говорил об эксплоатации рабочих. Означенное дело по отношению к Пешкову, за недостаточностью улик, по соглашению министров внутренних дел и юстиции, было прекращено без всяких последствий.

В ноябре 1899 года из Петербурга в Цюрих на имя Пекарь было отправлено полученное агентурным путем *) письмо, в коем сообщалось: „В Петербург приезжал Горький.

*) Т. е. перехвачено на почте. *И. Г.*

Литературный кружок недели две носился с ним. Он, говорят, скучал, задыхался и отплевывался от всей этой пошлости и... не выдержал. Выпал такой случай, и он громко выругал все то, пред чем у нас привыкли кадить. Все наши литераторы, вся интеллигенция ему, свежему человеку, показались такой же буржуазной, затхлой и пошлой, как и самые последние низы... Люди, пред которыми он прокричал эти слова (простые смертные—депутаты одной вечеринки), были возмущены этим богохульством, а для меня эти слова показались огненными буквами, написанными на наших мертвых, безжизненных скрижалях... Это революционный призыв, пока одинокий и, может быть, надолго затерянный в нашем цепенеющем царстве..."

Далее в департаменте полиции агентурным путем было получено письмо Пешкова из Нижнего-Новгорода от 5 февраля 1901 года, адресованное Николаю Телешову в Москву, следующего содержания: „Милый, хороший человек: надо заступиться за киевских студентов. Надо сочинить петицию об отмене временных правил. Умоляю: хлопочите. Некоторые города уже начали".

Одновременно Пешков писал в Москву Валерию Брюсову: „Настроение у меня, как у злого пса, избитого, посаженного на цепь. Если вы, сударь, любите человека, вы меня, надо думать, поймете. Я, видите ли, чувствую, что отдавать студентов в солдаты—мерзость, наглое преступление против свободы личности, идиотская мера обожравшихся властью прохвостов. У меня кипит сердце, и я был бы рад плюнуть им в нахальные рожи человеконенавистников, кои будут читать ваши „Северные Цветы" и их похваливать, как и меня хвалят. Это возмутительно и противно до невыразимой злобы на все, даже на Бунина, которого люблю, но не понимаю, как талант свой, прекрасный, как матовое серебро, он не отточит, как нож, и не ткнет им, куда надо".

В конце марта месяца 1901 года в департаменте полиции агентурным путем получено было письмо Леонида Андреева из Москвы к Пешкову, в Нижний-Новгород, по адресу редакции „Нижегородского Листка", следующего содержания: „Целую неделю волновался по поводу вас и беспокоился: здесь упорно твердили, что вы арестованы. Повидимому, самые слухи об аресте возникли на почве вашей популярности среди молодежи: вас очень любят. Кстати: в одном прескверном журнале „Русское Обозрение" один прескверный человек Филиппов написал статью о вас, еще не напечатанную. Мне кое-что передавали о содержании статьи, кажется она в вашу пользу (новый повод облаять вас для Гольцева). Но важно то, что этот прескверный человек нашел слово, которое так метко и удачно определяет вас в литературно-общественном отношении, что поистине должно стать крылатым. Он назвал

вас „буревестником“. А еще бы вернее назвать „буреглашатаем“. Недостаток определения, как и всякой схемы, в которую втискивают человека — неполнота. Вы не только сообщаете о грядущей буре: вы бурю зовете за собой“.

Проживая зимой текущего года в Петербурге, — отмечает далее департ. пол., — Пешков вращался в группе оппозиционно-радикальных писателей, принимая участие в агитации и возбуждении общества по поводу демонстрации 4 марта сего года на площади у Казанского собора, и подписал в числе других составленный по поводу этого события протест „Союза Взаимопомощи Русских Писателей“.

Около того же времени Горький сближается с наиболее активной частью социал-демократии, об'единившихся тогда около газеты „Искры“, руководимой В. И. Лениным. В делах департ. полиции имеется перехваченное конспиративное письмо, сообщающее об отношениях Горького к искровцам:

„Вероятно мой Геноссе вам сообщал о нашем свидании с Горьким. Он (Горький) произвел на всех нас чудесное впечатление. Свидание наше носило полуоффициальный характер. Была Старуха и мы оба. Мне было крайне отрадно слышать, что все его симпатии лишь на нашей стороне. „Освобождение“ он читал лишь 1-й номер и больше не желает видеть подобную пакость; эс-эрам тоже не сочувствует. Единственным органом, заслуживающим уважение, талантливым и интересным, находит лишь „Искру“ и нашу организацию — самой крепкой и солидной. Очень хочет познакомиться ближе с нашим направлением, нашими всеми изданиями и практикой нашей работы, и так как его сочувствие на нашей стороне, то он и хочет помогать нам, чем может: во-первых, понятно, деньгами, а потом предложил даже, что не может ли он исполнить какое-либо поручение в том городе, куда едет, но я категорически отказалась использовать его в этом отношении,—было бы очень неосновательно давать ему какое-либо рискованное дело. Наши издания и „Искру“ мы будем ему, конечно, доставлять. Что касается денег, то у нас с ним установлен договор на бессрочное время. Он нам будет давать каждый год по 5000 руб. Он страшно рад, что гарантирован от самозванства, как он выразился, — с чем ему пришлось встретиться раньше. Сам он проживает не больше 30% всего, что зарабатывает. Остальное он отдавал на всякие дела, и большею частью деньги эти тратились неосновательно, теперь же очень рад, что все пойдет в хорошие и верные руки... Кроме того, он указал нам несколько лиц, с которых можно будет содрать что-нибудь... Он думал, что сможет обеспечить вполне в денежном отношении наше существование, но когда мы ему сказали, что для того, чтобы дело шло хорошо, нам нужно в месяц 3000 руб., он был очень огорчен, что такой суммы в год (36.000 руб.) он достать не

может, но будет прилагать все усилия, чтобы минимум сильно увеличился“ *).

В апреле Горький вернулся в Нижний и здесь был арестован по обвинению в том, что в сообщничестве со Скитальцем (Петровым) он приобрел в марте в Петербурге мимеограф для издания „преступных воззваний к сормовским рабочим в видах подстрекательства их к беспорядкам“. Горький был привлечен на основании 1035 ст. устава уголовного судопроизводства.

По тому же делу о приобретении мимеографа были привлечены, кроме Горького и Скитальца, Зиновий Моисеевич Свердлов (будущий приемный сын Горького Зиновий Пешков, родной брат Якова и Вениамина Свердловых), крестьянин Жемчугов, дворянка Кольберг и дворянка Лидия Соколова.

Комиссия из семи нижегородских врачей констатировала у Горького рецидив легочного процесса, и в мае писатель был освобожден из тюрьмы и отдан под особый надзор полиции в Нижнем-Новгороде. Но присутствие его в родном городе показалось полиции опасным, и местные власти внесли дело о нем на обсуждение особого совещания. Это особое совещание постановило впредь до разрешения возбужденного дела подчинить Горького гласному надзору полиции в местности Нижегородской губ., кроме Н.-Новгорода.

В июне Горький был выслан в Арзамас. Это постановление было утверждено министром внутренних дел в августе 1901 г. Однако, в октябре, в виду возобновившегося туберкулеза, писателю было разрешено поселиться до 15 апреля 1902 г. в Ялтинском уезде, без дозволения жить в самой Ялте. Нижегородцы устроили писателю торжественные проводы, о которых рассказывает гектографическое воззвание „к обществу“. Это воззвание разбрасывалось по городу, а также послано было нижегородцами в столицы.

„Чествование Горького продолжалось несколько дней: на вечере, устроенном высланными сюда студентами и курсистками; на банкете, где собралось около 150 человек публики; на последнем были прочитаны адреса: 1) от интеллигенции; 2) от высланных студентов, курсисток и *некоторой* части интеллигенции. Говорилось много речей, из которых замечательна одна, сказанная в ответ на речь одного из представителей буржуазной интеллигенции, в ответ на высказанную надежду на скорое возвращение Горького;—один из студентов сказал, что Горький возвратится только тогда, когда Россия будет свободна, и прекратится преследование физической силой людей, борющихся только мыслью и словом. Банкет закончился пением революционных песен и общим

*) Последнея выдержка из книги П. Лепешинского „На повороте“.

возбуждением присутствующих, решивших непременно проводить Горького демонстрацией. 7 ноября — день от'езда Горького — местная интеллигенция и учащаяся молодежь (около 200 чел.) собралась на вокзале. Пелись революционные песни, раскидывались листки к народу, выяснявшие простым и понятным языком значение Горького и язвы нашего политического строя, раздавались приветствия Горькому и высказывались надежды на скорое освобождение России. После проводов часть публики (около 60 чел.) прошлась демонстративно с пением революционных песен и громкими криками: „Да здравствует борец за свободу Максим Горький!", „Да здравствует свобода!", по Канавину и главной улице — Большой Покровке" *).

Демонстрация, к которой присоединилось много народа, произвела сильное впечатление. Воззвание приглашало присоединиться „к слабому, но активному протесту" и об'единить политическую борьбу вокруг имени Горького, воспевшего „безумство храбрых". „Пусть, — говорилось в прокламации, — идеи его найдут последователей не только на словах, но и на деле".

Полиция не мешала этой демонстрации, ибо растерялась от неожиданности, да к тому же большею частью была в соборе у всенощной, ибо это был канун дня Михаила Архангела—патрона полиции.

VI.

Жизнь в Крыму текла для ссыльного писателя сравнительно спокойно. Во всяком случае гораздо приятнее арзамасского житья, где надзор полиции давал себя знать.

„Мой сосед, земский начальник Хотяинцев,—рассказывает о своей поднадзорной жизни в Арзамасе Горький,—особенно не взлюбил меня, — до того, что даже запретил своей прислуге беседовать по вечерам у ворот с моей кухаркой. Полицейского поставили прямо под окно мне, и он с наивной бесцеремонностью заглядывал в комнаты, когда находил это нужным. Все это очень напугало горожан, и долгое время никто из них не решался зайти ко мне".

Против последнего обстоятельства Горький, пожалуй, ничего не имел бы, но жить под таким надзором (в самом буквальном смысле этого слова) было, конечно, тяжело.

Во время этого ялтинского периода жизни Горький часто встречался в местечке Гаспра с Л. Н. Толстым, о котором на всю жизнь сохранил благоговейную память, как о великом и мудром человеке. К этому времени относятся и замечательные „Воспоминания" Горького о Л. Толстом.

*) Воззвание извлечено из собрания С. С. Венгерова.

В Крыму же Горький получил от председательствующего в Отделении русского языка и словесности Академии Наук следующее уведомление от 26 февраля 1902 г.:

Милостивый Государь

Алексей Максимович.

Имею честь уведомить Вас, что соединенное собрание Отделения русского языка и словесности и разряда изящной словесности императорской Академии Наук в последнем своем заседании, состоявшемся 25-го сего февраля,—избрало Вас в почетные академики по разряду изящной словесности.

Диплом на означенное звание будет доставлен Вам по настоящему адресу в самом непродолжительном времени.

Покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, принять уверение в отличном почтении и совершенной преданности.

А. Веселовский.

Письмо адресовано:

Почетному Академику

Алексею Максимовичу

Пешкову.

Одновременно с Горьким в почетные академики был избран известный драматург, автор „Свадьбы Кречинского" А. В. Сухово-Кобылин.

Оффициальное письмо А. Веселовского сопровождалось частным следующего содержания:

Москва, 26 февраля 1902 г.

Уважаемый Алексей Максимович.

Искреннее сочувствие Вашей деятельности побуждает меня предложить Вас в действительные члены старейшего русского литературного общества, когда-то видевшего в своих рядах Гоголя и Пушкина, теперь считающего с гордостью своим членом Льва Толстого. По уставу я обязан обратиться к Вам и получить Ваше согласие на баллотировку. Позвольте надеяться, что Вы сочувственно отзоветесь на мою просьбу и в возможно скорейшем времени потрудитесь прислать мне соответствующее заявление.

Искренно уважающий Вас

Алексей Веселовский.

Председатель Общества Любителей Российской Словесности.

Насколько избрание почтенного драматурга было встречено спокойно прессой и публикой, настолько же новый успех „знаменитого босяка“ взбаломутил все вокруг. Известие о том, что неблагонадежный „босяк“ попал в „Императорскую“ Академию Наук облетело всю Россию и попало с разными комментариями во все столичные и многие провинциальные газеты. Бульварной прессе это послужило благодарной темой для бесшабашного зубоскальства. „Шут“ напр., встретил сообщение это такими стишками:

Что за странные порядки:
Кто их тайный смысл постиг:
Весят тощие тетрадки
Столько-ж, сколько груды книг.
Что ж дивиться! Знай всегда ты,
Будь то прежде иль теперь,
Фунт ли камня, фунт ли ваты,
Весят поровну, поверь.

Стихи стоят под каррикатурой, изображающей „весы бессмертия“. На одной чаше пять толстых томов Горького, на другой—тощий томик Сухово-Кобылина.

„Благонамеренная“ часть общества находила поступок Академии Наук неосторожным, стараясь доказать, что Горький не заслужил высокой чести избрания с чисто литературной точки зрения. Зато реакционеры не могли подыскать слов для своего возмущения.

Князь Мещерский в своей газете „Гражданин“ писал, что когда он прочел в газетах „страшное“ известие об избрании Горького, у него „помутилось в глазах“: „Мне показалось, что я читаю в бреду и вижу не то, что напечатано, а то, что мне замерещилось... Я испугался своего бреда“. В этот момент влетел к нему один знакомый с восклицанием:

„Вы читали? Максима Горького осмелились избрать в академики!“ „Так это не бред — подумал я с ужасной болью в душе--это факт... Вызов, брошенный всей образованной России Пушкина и Карамзина, всей *верноподданнической* России Академией Наук, это—исторический факт. Насмешка над всеми талантами, поругание 200 лет Академии—это правда“. „Боже праведный!—воскликнул мой знакомый,—куда же мы идем? Максим Горький—почетный член Академии!“ *).

Так старалась благонамеренная часть общества.

И вдруг — словно в ответ на это, в „Правит. Вестнике“ появляется сообщение:

*) Между тем, незадолго перед этим „Гражданин“ с благоволением относился к молодому писателю, и, напр., гр. Петр Кутузов писал о нем: „для такого подвижника-писателя, как М. Горький, недостает подходящего скульптора-критика, который, увенчав его чело лаврами, поставил бы его всенародно на подобающем пьедестале, создав затем достойный памятник ему, сильному и светлому русскому работнику изящной словесности“.

„В виду выяснения обстоятельств, которые не были известны собранию Отделения языка и словесности императорской Академии Наук, выборы в почетные академики Алексея Максимовича Пешкова, привлеченного к дознанию в порядке ст. 1035 уст. угол. судопроизв., *об'являются недействительными*“.

Реакционные газеты подхватили с восторгом эту новую сенсацию, глумливо называя Горького „двухнедельным академиком“ и „академическим недоноском“. Горький же получил следующую бумагу в виде „конфиденциального“ сообщения и. д. таврического губернатора вице-губернатора Ник. Дм. Истинского (Симферополь) за № 1315 от 15 марта 1902 года:

И. д. Таврического
губернатора.

Конфиденциально.

Милостивый Государь
Алексей Максимович.

Императорская Академия Наук обратилась ко мне с просьбой возвратить ей посланный на Ваше имя пакет за № 198, выданный Вам 3 сего марта с извещением об избрании Вас в почетные академики.

Сообщая Вам об этом, имею честь покорнейше просить Вас возвратить мне, по прилагаемому адресу, полученный пакет Академии Наук с извещением № 198.

Прошу принять уверение в совершенном почтении

Н. Истинский.

На эту „конфиденциальную“ бумагу Горький отвечал следующим письмом:

Его Превосходительству
Господину Исправляющему
должность Начальника
Таврической губернии.

Уведомление о том, что я избран почетным академиком, было получено мною непосредственно от Академии Наук,—полагаю, что и с просьбой о возврате этого уведомления Академия должна обратиться непосредственно ко мне, мотивировав просьбу эту точным--на основании устава об учреждении отдела изящной словесности—изложением причин, по силе которых Академия считает необходимым просить меня о возврате документа.

Покорно прошу Ваше Превосходительство сообщить Академии это письмо.

А. Пешков.

Всероссийская публичная библиотека

Сначала перед подписью стояло: „С совершенным почтением цеховой малярного цеха“, но потом слова эти были писателем вычеркнуты *).

Так письмо А. Веселовского и осталось у Горького.

Этот инцидент вызвал возмущение среди лучшей части русского общества и очень скверно отразился на отделе изящной словесности: А. П. Чехов и В. Г. Короленко возвратили Академии свои дипломы. По этому поводу Чехов писал президенту Академии великому князю Константину Константиновичу:

„В. И. В. В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики; и я не замедлил повидаться с А. М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что, в виду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст., выборы признают недействительными; причем было точно указано, что это извещение исходит от Академии Наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходит и от меня. Я поздравлял сердечно и я же признавал выборы недействительными,—такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не об‘яснило мне. И после долгого размышления, я мог притти только к одному решению, крайне для меня тягостному и прискорбному, а именно,— покорнейше просить В. И. В. о сложении с меня звания почетного академика“ **).

Короленко подал следующее заявление:

„А. Н. Веселовскому, председателю II Отделения импер. Академии Наук.

„Глубокоуважаемый

Александр Николаевич.

В конце прошлого года я получил приглашение участвовать в выборах по Отделению русского языка и словесности в Разряду изящной словесности и, следуя этому приглашению, подал свой голос, между прочим, и за А. М. Пешкова (Горького), который был избран и, как мне известно, получил обычное в таких случаях извещение о выборе.

Затем в „Правительственном Вестнике“ и всех русских газетах напечатано об‘явление от Академии Наук, в котором сообщалось, что, выбирая А. М. Пешкова-Горького, мы не знали о факте его привлечения к дознанию по 1035 ст.

*) Документы печатаются с подлинников, найденных в бумагах Горького.

**) После письмо это было переадресовано А. Н. Веселовскому.

и, узнав об этом, как бы признаем (сами) выборы недействительными.

Мне кажется, что, участвуя в выборах, я имел право быть приглашенным также и к обсуждению вопросов об их отмене, если эта отмена должна была быть произведена от имени Академии. Тогда я имел бы возможность осуществить свое неот‘емлемое право на заявление особого по этому предмету мнения, так как, подавая свой голос, я знал о привлечении А. М. Пешкова к дознанию по политическому делу (это известно очень широко) и не считал это препятствием для его выбора.

Мое мнение может быть ошибочно, но и до сих пор оно состоит в том, что Академия должна сообразоваться лишь с литературной деятельностью избираемого, не справляясь с негласным производством постороннего ведомства. Иначе самый характер академических выборов существенно искажается и теряет всякое значение.

Выборы почетных академиков по существу своему представляют гласное выражение мнения Академии о выдающихся явлениях родной литературы. Всякое мнение, по своей природе, имеет цену лишь тогда, когда оно независимо и свободно... Отмене или ограничению могут подлежать лишь формы его обнаружения, но не самое мнение, которое, по природе своей, чуждо внешнему воздействию. Только я сам могу правильно изложить мотивы моего мнения и изменить его, а тем более об‘явить об этом изменении. Всякая человеческая власть кончается у порога личной совести и личного убеждения. Даже существующие у нас законы о печати признают это непререкаемое начало. Цензуре предоставлено право остановить оглашение того или другого взгляда, но закон воспрещает цензуре всякие посторонние вставки и заявления от имени автора. Мне горько думать, что об‘явлению, сделанному от имени Академии, суждено, впервые, кажется, ввести прецедент другого рода, перед сущностью которого совершенно бледнеет самый вопрос о присутствии того или другого лица в составе почетных академиков. Если бы этот обычай установился, то мы рискуем, что нам могут быть диктуемы те или другие обязательные взгляды, и что о перемене наших взглядов на те или другие вопросы (жизни и литературы) может быть об‘явлено от нашего имени совершенно независимо от наших действительных убеждений. А это—величайшая опасность в глазах всякого, кто дорожит независимостью и достоинством своего убеждения. Смею думать, что это величайшая опасность также для русской науки, литературы и искусства.

В виду изложенных, по моему мнению, в высшей степени важных принципиальных соображений, я и считал необходимым обратиться к вам с просьбой известить меня о времени

заседания Отдела и Разряда по этому поводу. К сожалению, моя просьба запоздала и уже тогда, к крайнему моему прискорбию, я предвидел, что мне останется только сложить с себя звание почетного академика, так как по совести я не могу разделить ответственности за содержание сделанного от имени Академии об'явления. Но я считаю своей нравственной обязанностью перед уважаемым учреждением прежде изложить свои соображения в собрании Отдела и Разряда, которое, быть может, указало бы мне другой выход, согласный с моей совестью и достойный высшего в нашем отечестве научного учреждения. Оставаясь при этом мнении, я прошу Вас, глубокоуважаемый А. Н., сообщите мне, не находите ли Вы возможным созвать в ближайшем времени собрание Отдела русского языка и словесности и Разряда изящной словесности для выслушания моего заявления (которое я в таком случае буду иметь честь представить).

Примите и пр.

Вл. Короленко.

6 апр. 1902.
СПБург

Для всех очевидны были какие-то закулисные интриги во всей этой истории, но только после раскрытия полицейских архивов в 1917 году обнаружилось, кто заставил Академию Наук сыграть такую унизительную роль. Когда появилось газетное сообщение об избрании Горького, министр внутренних дел приказал наклеить его на веленевую бумагу, а департамент полиции постарался составить исчерпывающую справку о благонадежности Горького. Эта справка вместе с вырезкой из газеты была представлена Николаю II. Тот, совершенно незнакомый с русской жизнью и литературой, очевидно в первый раз узнал о существовании какого-то литератора из нижегородских цеховых малярного цеха Пешкова-Горького, и подивился, как это могла Академия избрать в свои члены человека, уже с 1895 года принадлежащего „к числу лиц, известных в литературных кружках враждебным самодержавию направлением". Особенно удивило его то, что избирают в Академию человека, находящегося еще под судом.

Он положил резолюцию: „*Более чем оригинально*!".

Эта резолюция и решила судьбу Горьковского диплома. Конечно, популярность Горького после этого инцидента не только не уменьшилась, но возросла. Весь этот шум не мог не отвлекать писателя от его непосредственной работы.

В этом же 1902 году Горький выступил на новом .поприще—драматическом, здесь тоже его ждал успех.

Еще в 1900 году он сдал в Московский Художественный Театр пьесу „Мещане". Однако, на сцене она была поставлена лишь в марте 1902 года во время петербургских гастролей театра.

Тогда же распространились слухи, что Горьким готовится новая пьеса. Эту новую пьесу—„На дне"—автор читал в сентябре 1902 г. в Художественном Театре, в присутствии Е. Чирикова, Л. Андреева, Найденова, Шаляпина и артистов Художественного театра. Во время репетиции пьесы „На дне" наступил день бенефиса Шаляпина. Бенефис был справлен очень торжественно и пышно. После спектакля состоялся банкет, на котором среди хвалебных речей раздалось „грубоватое," по выражению одного из рецензентов, слово Горького.

— Вы талант,—сказал Горький, обращаясь к Шаляпину,— вы—гений, но ваши песни не доходят до масс. Ваши песни теряются в золоченых амфиладах Замоскворечья. Пойте для всех, а не для одних толстых замоскворецких купчих... Будите восторг в душе несчастных, забытых. Тогда вы будете воистину великим".

Первое представление пьесы „На дне" состоялось 18 декабря 1902 г. Успех ее превзошел самые неумеренные ожидания. По словам рецензента, Горького начали вызывать после первого же акта; Горький выходил 6 раз, и вызовы при появлении автора на сцене превращались в несмолкаемый гул аплодисментов. По окончании пьесы овация приняла „небывалые" размеры. Горький выходил на вызовы более 15 раз.

Газеты не находили достаточно сильных выражений для обозначения успеха пьесы.

От такого успеха у писателя, однако, не кружилась голова. Так, по поводу приглашения участвовать на одном вечере Горький сказал: „все это праздное любопытство, оно меня озлобляет, а зеваки только раздражают. Я не желаю выступать на подмостках перед публикой".

Сочинения Горького в изд. т-ва „Знание" продолжали расходиться в баснословном по тому времени количестве. Пьесы пользовались таким же успехом: „Мещане" уже в 1902 году выдержали под-ряд четыре издания (45.500 экз.). Первое издание (30.500 экз.) разошлось чуть ли не в две недели. Шестой том сочинений Горького („Мещане" и „На дне") выдержал в 1903 году пять изданий (25.000 экз.).

Пьеса „На дне" шла и во время великопостного сезона Художественного Театра в Петербурге и уже к 1 апреля прошла 50 раз при полных сборах. В то время как публика с прежним энтузиазмом относилась к пьесе, — петербургская пресса встретила произведение Горького холодно и неодобрительно. Это было так неестественно, что Серафимович в „Курьере" предположил даже, что „пером петербургских газетчиков во-

дила не искренняя оценка, а особые соображения". Эти „особые соображения" заставили отойти от Горького всю „благонамеренную" часть общества: слишком уж явно в романтически-бунтарском духе его произведений определилась яркая революционная линия. Волна успехов Горького, поскольку они были делом моды, к тому времени уже спала, и популярность его приобрела значение популярности „писателя-революционера". На пьесу „На дне" было воздвигнуто гонение. Внезапно запрещена была постановка ее на сцене императорских театров. Запрещено было ставить пьесу и в провинции. Нижегородскому антрепренеру Басманову с трудом удалось добиться отмены этого запрещения, и родному городу Горького удалось-таки увидеть новинку.

В том же 1903 году еще больше оттолкнуло от Горького консервативную часть общества и усилило симпатии революционной молодежи резкое выступление его по поводу Кишеневского погрома.

Горький напечатал в заграничном журнале П. Струве „Освобождении" статью, в которой называл „истинными виновниками" погрома реакционных журналистов: Алексея Суворина, Виктора Буренина, Василия Величко, Сергея Шарапова, Виссариона Комарова, Крушевана, Пятковского и „иных, иже с ними". Эта статья еще до напечатания ее ходила по рукам в гектографированном виде. Конечно, она вызвала в реакционной печати („Нов. Время", „Знамя", „Гражданин") бурю негодования. Особенно бушевали Буренин в „Новом Времени" и Крушеван в „Знамени". Буренин договорился до того, что в своей „Отповеди г. Максиму Горькому" (12 сентября 1903 г.) обвинял писателя в том, что это он, Максим Горький, истинный виновник погрома, ибо в Кишиневе работали его же Челкаши и Коноваловы, которых он „осенял ореолом мощи и величия".

Наступил 1904 год, год военных неудач и громадного роста революционной волны.

Имя Горького в связи с назревавшими событиями стало ненавистно для реакционной части общества. Его произведения не вызывали уже прежнего единодушного восторга. Реакционеры каждое новое произведение Горького встречали бранью и свистом. В связи с этим усилились и гонения на пьесу „На дне", хотя в 1903 г. ей присуждена была полностью Грибоедовская премия.

Еще более обострился раскол в отношении Горького с появлением его новой пьесы „Дачники", первое представление которой состоялось 11 ноября 1904 года в театре Комиссаржевской. Несмотря на громадные цены, театр был набит битком. Тут был весь литературный и журнальный мир. Вызовы и овации начались после второго акта. Горький выходил на вызовы пять раз, ему поднесли два венка. Третий же акт был встречен свистом и шиканьем. Эти свистки были „идейные", как отметили все рецензенты. „Так это понял, очевидно, и Горький",—пишут „Новости",—„он вышел на шипенье хулителей и внимательно разыскивал их глазами в толпе. Он поступил как отважный боец, решившийся на борьбу до конца и готовый отпарировать каждый удар, ответить за каждое свое слово. Но никакого глумления и презрения в его позе не было. Это было, правда, необычно: нам так редко приходится видеть действительно смелых и сильных людей".

Для публики Горький, как интересная фигура, как „знаменитый босяк", кончился после этой пьесы. Публика увидела другого Горького — писателя, борющегося за свои убеждения, протестующего против слабости и бессилия русской интеллигенции. И публика была разочарована и рассержена, вместо своего любимца увидев обличающего ее писателя. В результате — „без слов, заложив руки за спину, безжалостно-жестокий и твердый, как мраморный колосс, стоял Горький пред шикающим интеллигентом и пристально смотрел на него" („Русь" 14/X).

Вскоре после этого в обществе пошли толки об отходе Горького от Художественного Театра, о возникновении нового театра и о слиянии его с труппой театра Комиссаржевской во главе с Горьким. Слухи эти были правильны, и в декабре появилось уже точное сообщение о новом предприятии.

Но все эти широкие художественные задания были вскоре разрушены политическими событиями, вынесшими „Буревестника" высоко на гребень революционной волны. Шел 1905 г.

VII.

Слухи о петиции рабочих к царю и о готовящемся рабочем движении с Гапоном во главе волновали Петербург с 6 января 1905 года. Вечером 8 января, когда ясно стало, что слухи эти вполне достоверны, в редакции „Сына Отечества" собрались представители литературы. В редакцию доставлена была петиция рабочих и письмо Гапона к министру Святополк-Мирскому. Петиция и письмо были прочитаны при глубочайшем внимании собравшихся. В публике был рабочий Кузин, знавший планы Гапона. В ответ на расспросы литераторов он говорил о назначенном на 9 января шествии рабочих к царю—рабочие желали сделать последнюю попытку говорить с царем о своих нуждах лично, а не через чиновников.

В двенадцатом часу ночи собрание делегировало к кн. Святополк-Мирскому и гр. С. Ю. Витте литераторов и ученых с целью раз'яснить властям мирный характер готовящегося рабочего движения. Делегатами были: К. К. Арсеньев,

Н. Ф. Анненский, И. В. Гессен, М. Горький, Н. И. Кареев, Е. И. Кедрин, В. А. Мякотин, А. В. Пешехонов и В. И. Семевский. Присоединился к ним также и Кузин; последний оказался провокатором.

Святополк-Мирского не было дома. Генерал Рыдзевский, его помощник, обещал передать министру раз'яснения депутации, но посоветывал обратиться с предупреждением лучше не к правительству, а к рабочим, так как правительство прекрасно осведомлено об истинных намерениях рабочих. Принял он депутацию грубо, даже не пригласил сесть стариков Анненского и Семевского. У Витте на Каменноостровском депутация была принята, разговаривала с Витте более часу. Говорил Анненский, Мякотин, Пешехонов. Витте заявил, что бессилен помочь чем-нибудь, так как это дело „не его ведомства". Поздно ночью депутация вернулась в редакцию чтобы сообщить о неудачных результатах своей миссии.

А на следующий день 9 января 1905 г. совершился расстрел мирных и безоружных рабочих.

Горький составил отчет о событиях 8 и 9 января, который за полными подписями всех членов депутации должен был распространяться в обществе. Прис. пов. Е. И. Кедрин сделал на отчете этом пометку: „Надо разделить отчет о вечере 8 янв. от 9 янв.". С этим согласился и Пешехонов. Остальные члены депутации и не видели проекта, представленного Горьким, так как этот проект в ночь на 11 января при обыске на квартире Кедрина был отобран, а затем все члены депутации, кроме К. К. Арсеньева, были арестованы. На вопрос, кто составлял „преступное" воззвание, Кедрин отвечал полным незнанием. Но Горький, арестованный в Риге, не скрыл, что составитель „воззвания"—он. Вместе с товарищами он был заключен в Петропавловскую крепость.

По обвинительному акту, „нижегородский цеховой Алексей Максимович Пешков 35 лет" 9 января 1905 г. в С. П. Б. составил, с целью распространения, воззвание, возбуждающее к ниспровержению существующего государственного и общественного строя, причем распространение означенного воззвания не последовало по обстоятельствам, от воли Пешкова независящим".

К Горькому, таким образом, было пред'явлено обвинение по 1 п. 132 ст. гражд. улож., и дело о нем, по 1032 ст. уст. о судопроизводстве, поступило в Петербургскую судебную палату. Суд должен был происходить без участия сословных представителей и при закрытых дверях.

Защитник Горького прис. пов. О. О. Грузенберг настаивал на открытом суде. „Максим Горький" — писал он в заявлении,—во всей его деятельности отличается прямодушием

и откровенностью. Даже в те часы, когда брызги пролитой 9 января на улицах столицы народной крови пали на его впечатлительную душу и залили ее болью, ужасом и негодованием, он писал свой набросок только под условием подписания его полным именем, как им самим, так и остальными членами депутации. Писатель, действовавший столь открыто, в праве рассчитывать, что суд над ним не будет закрытым".

Кроме того, Грузенберг требовал дополнительных свидетелей, изумляясь, почему допрошены были только Кедрин и производивший обыск пристав Прокофьев.

В марте 1905 года Горький был освобожден под залог в 10.000 руб., внесенный С. Т. Морозовым. Он поселился в Мариенгофе. Здоровье его от пребывания в крепости расстроилось. Началось кровохарканье.

Через месяц ему было разрешено отправиться на лечение в Ялту, куда он с семьею и поехал. В Крыму писатель пробыл недолго. Ему было разрешено жить всюду, кроме Петербурга, и 15 мая он переехал в Финляндию, в Куоккала.

Известие об аресте Горького произвело в России и за границей необыкновенное впечатление.

Манифестации с криками „Да здравствует Горький!" на представлениях пьес Горького стали в русской провинции обычным явлением. За границей, особенно во Франции, Горький стал героем дня. Там распространились даже слухи, что Горькому грозит смертная казнь. Представители западноевропейской литературы, науки и искусства с необычайным жаром и горячим сочувствием вступились за своего русского собрата.

Когда на Венском литературном конгрессе 1881 г. предложено было русскими делегатами ходатайствовать перед русским правительством о смягчении участи Н. Г. Чернышевского, предложение это встретило глубокое равнодушие европейских литераторов и ученых и сорвано было польскими делегатами, убоявшимися репрессий при возвращении в Россию. Прошло четверть века, и лучшая часть западно-европейского общества откликнулась на страшные события в России.

Манифестации происходили в крупных и мелких городах всего мира. Анатоль Франс на митинге в Париже заявил, что „Горький принадлежит не только России, но всему миру". „Temps", „Echo de Paris", „Petit Parisien", „Petite République" и другие газеты посвящали Горькому целые столбцы.

Появились интервью с целым рядом французских писателей, артистов и художников. По поводу ареста в „Humanité" напечатан был сочувственный адрес Горькому, под которым подписались: Кюри, Люсьен Декав, Эдм. Арокур, Гюисманс, Анри Пуанкарэ, Жюль Ренар, Ан. Франс, Брюнетьер,

Жюль Кларти, Поль и Виктор Маргерит, графиня де-Ноайль, Поль Адан, Альфред Капюс, Рони, Октав Мирбо, Габриэль Мурэ, Муассан, Родэн, Жорес, Катулп Мендэс, Густав Жеффта, Тристан Бернар, Леон Блуа, А. Бриан, Дюрэ, А. Шарпантье, Жак Лепин, Марсель Прево, Клод Монэ, Люд. Галеви, Леопольд Лакур и много других знаменитых и почетных имен. „Les amis du Peuple Russe et des Peuples annéxes" распространило во Франции в десятках тысяч экземпляров протест против ареста Горького. Протест этот покрывался подписями людей всех сословий и состояний.

В нью-иоркском „Метрополитэне" пьеса „На дне" шла с прологом, в котором изображался Горький в тюрьме, пишущий новую пьесу и говорящий о босяках фразами из разных своих произведений.

В Берлине была представлена пьеса из жизни Горького, в которой были выведены Короленко, Стасов и Шаляпин.

В „Новостях" опубликована была петиция иностранных писателей, которая на французском языке была послана, как сообщала „Berliner Tageblatt", министру внутренних дел. Вот она:

„Ваше высокопревосходительство.

Весть об аресте писателя Максима Горького вызвала глубокое участие к нему в образованных людях всех стран, где знают творения Горького. В каком преступлении обвиняется несчастный писатель, нам пока не известно, зато известно, что его проникнутые глубоким чувством и вылившиеся в высокохудожественную форму творения распространили по всему миру уважение к духу народной поэзии, и что все его сочинения дышали страстной любовью к родине. Этого не могли не заметить даже иностранцы. Если, что весьма неправдоподобно, человек, создавший столько прекрасных и долговечных произведений, погрешил против законов своей страны, он без сомнения сделал это под влиянием благородного порыва, но никак не из низменных и тем менее преступных побуждений. В этом убеждении много тысяч голосов, среди которых есть голоса наиболее выдающихся людей различных стран, сливающихся в одном крике: „Свободу Максиму Горькому!" Верните его труду, родине, целому миру. За него просит вас человечество. Внемлите его голосу, и вы будете вознаграждены. Суровый приговор или длительное заключение может отнять у России и всего культурного мира творческий гений, от которого можно еще ждать великого. Мы не так глупы и дерзки, чтобы позволить себе вмешиваться в судопроизводство чужой страны или хотя бы насильно добиваться оправдательного приговора, который может иметь значение только тогда, когда он обусловлен внутренним убеждением. Но это убеждение может и должно быть поддержано свидетельством тысяч свободных людей, которые без всяких личных побуждений вступаются за узника. Хотя по последним сведениям, отчасти оффициальным, в близком будущем должно состояться освобождение писателя и можно надеяться на скорый и счастливый исход, все же пусть беспримерное сочувствие образованных людей всех стран докажет, с каким вниманием следит мир за развитием России и какой любовью пользуются русские писатели за пределами своего отечества".

Конечно, ошибочно было бы это беспримерное сочувствие иностранцев относить только к личности М. Горького. Это было сочувствие всей русской литературе, а также русской революции, вступившей в борьбу с царским правительством. В своих „Зарубежных откликах" в „Руси" А. Амфитеатров отмечал в то же время охлаждение западно-европейского общества к Льву Толстому в связи с отношением великого писателя к революции.

В тех же „Зарубежных откликах" Амфитеатров говорил, что переводами Горького завалены все итальянские редакции. Горький—„самое громкое имя" в Зап. Европе.

В Петропавловской крепости Горьким была написана новая пьеса „Дети Солнца". Эту пьесу автор рассматривал, как веселую комедию, и, работая над ней в камере, неистово хохотал к соблазну и удивлению тюремной стражи. Вызывали коменданта крепости Веревкина, человека глухого и добродушного, он являлся в камеру Горького, по часу и более сидел на койке у него, слушая рассказы писателя о жизни русских монастырей, чем Веревкин очень интересовался. И оба хохотали, продолжая удивлять солдат.

Конфликт писателя с Художественным театром, возникший в 1904 году, был ко времени освобождения Горького улажен, и пьеса включена была в репертуар этого театра, а также и театра Комиссаржевской в Петербурге. Летом в Куоккала Горький несколько раз читал свое новое произведение в кругу знакомых литераторов, причем однажды чтение происходило в мастерской И. Е. Репина.

Летом Горький принял участие в нескольких литературно-музыкальных вечерах, устроенных в Финляндии. Так, 17 июля он читал в Куоккале „Кирилку", 30 июня в Териоках „Человека". В последнем вечере приняли участие: Леонид Андреев, выступивший с „Красным смехом", Скиталец, Куприн, М. Андреева, И. Рукавишников и др.

„Дети Солнца" были даны в октябре в театре Комиссаржевской и в Художественном театре. Народная сцена в последнем акте была причиной разыгравшегося в Художественном театре переполоха. По словам корреспондента „Новостей Дня", крики на сцене слились с криками и свистом в зале. Слышались истерические вопли, возгласы:

— Довольно! не надо! Уберите это! Занавес!

Немирович-Данченко обратился к публике с вопросом:

— Господа, позволите нам кончить?

И пьеса была окончена при опустевшем зале.

То же самое происходило при представлении „Детей Солнца“ и в других городах, например, в Нижнем-Новгороде 8 ноября.

Тем временем, в августе появились известия в газетах, что Горький закончил новую драму „Варвары“, которая в России безусловно запрещена к представлению.

После манифеста 17 октября в Петербурге при ближайшем участии Горького была основана газета „Новая Жизнь“. В газете сотрудничали: Б. Авилов, В. Базаров, Н. Ленин, А. Луначарский, П. Маслов, Н. А. Рожков, в литературном отделе,—Л. Андреев, К. Бальмонт, Н. Минский, Серафимович, Скиталец, Е. Чириков, Г. Чулков, С. Юшкевич и много других известных имен. В газете принимали участие и иностранные писатели социал-демократического толка: Брак, Ж. Гед, К. Каутский, Марсель Кашен, П. Лафарг, К. Либкнехт, Р. Люксембург, П. Луи, Поседов, Рессель и др.

В качестве редактора подписывался Н. М. Минский, в качестве издательницы М. Ф. Андреева. После первого же номера „Новой Жизни“, вышедшего в четверг 27 октября 1905 г., молодая газета испытала на себе последствия „свободы слова“, возвещенной манифестом 17 октября. Полиция отбирала номера газеты у газетчиков на улицах к вечеру ее выхода, а в 12 часов ночи в экспедиции газеты было конфисковано 8.000 экз., предназначенных к отправке в провинцию. В 7 часов утра следующего дня инспектор типографии опечатал матрицу первого номера и уничтожил стереотип. 28 же октября редактор-издатель Н. М. Минский был вызван к судебному следователю по важнейшим делам и привлечен к суду по 2 части 129 ст. угол. улож., т.-е. за распространение сочинений, возбуждающих к ниспровержению существующего государственного и общественного строя. Судебный следователь, кроме того, передал мировому судье предложение главного управления по делам печати о привлечении Н. М. Минского к ответственности за выпуск газеты без пред'явления ее в цензуру, что, по его словам, лишило возможности конфисковать газету.

Сообщая все это читателям, редакция „Новой Жизни“ заканчивала сообщение протестом: „Мы протестуем против произведенного над нами насилия и отдаем на суд всего общества попытку администрации заставить молчать свободный голос социал-демократического органа печати“.

Гонения на газету продолжались. Полиция отбирала „Новую Жизнь“ у газетчиков и даже у обывателей, запрещала продажу ее в киосках и магазинах. Почта задерживала рассылку, истребляя номера, не принимая денежные переводы в контору газеты. Наконец, 2 декабря 1905 года „Новая Жизнь“ была прекращена.

VIII.

Первые же известия о предполагавшемся займе царского правительства за-границей послужили предметом горячего обсуждения в России. Революционные группы русского общества об'единились под лозунгом: „Не давайте денег русскому правительству“. Мысль о том, что культурные и свободолюбивые страны Европы могут поддержать своим капиталом ненавистное русскому обществу правительство,—одна эта мысль возмущала и вызывала горячую агитацию против займа. Казалось неправдоподобным, чтобы республиканская Франция или свободная Америка протянули руку помощи угнетателям русского народа.

Вопрос о займе стоял очень остро. Наряду с агитацией социалистов шла правительственная агитация в пользу займа. Царское правительство принимало все меры к осуществлению своих планов, и понятно поэтому отношение охранников к заграничной поездке Горького, поездке, одной из главных целей которой служила именно агитация против русского займа.

Горький выехал из России в январе 1906 г. Поездка его совпала с заграничным турнэ Московского Художественного Театра. В Берлине Горький был встречен очень тепло и сочувственно. Его приветствовали на многочисленных банкетах и литературных вечерах. По инициативе немецкого писателя Зудермана, был устроен литературный вечер, посвященный Горькому. Клуб живописцев „Сецессион“ в Берлине устроил банкет в честь русского писателя. В ответ на приветствия Горький говорил о невыносимых страданиях, которые испытывает Россия,—поэтому столько скорби в произведениях русских писателей. Горький выражал надежду, что немецкие товарищи в союзе с русскими создадут новое искусство, искусство свободного народа.

В берлинском театре ставились пьесы Горького „Дети Солнца“, „Варвары“ и переделка повести „Трое“.

Спектакли Художественного театра, ставившего, между прочим, и „На дне“, вызывали необычайное внимание берлинской публики и литературно-театральных кругов. Однажды было устроено чтение пьес Горького артистами Художественного театра, причем автор читал Луку.

В Париж Горький приехал инкогнито, желая избежать чествований, пробыл там всего один день и отправился оттуда через Шербург в Нью-Йорк.

Русские охранники вступили в решительную борьбу с агитацией Горького. До приезда его в Америку чиновники пере-

селенческого управления Соединенных Штатов принялись за изучение биографии Горького, стараясь подвести русского писателя под закон, воспрещающий анархистам в'езд на территорию Соединенных Штатов. Это им не удалось, но удался другой план сорвать агитационную поездку Горького. Организация этого похода охранников описана подробно охранником Николаевым в одном из журналов Чикаго.

6-го апреля в русских газетах появилась телеграмма из Лондона от 4 апреля, сообщающая о преследованиях, которым подвергся русский писатель в „свободной" Америке. Русское общеество не могло верить этим слухам, и лондонская телеграмма была снабжена примечаниями о том, что слухи эти нуждаются в проверке. Но уже на следующий день известие подтвердилось. По газетным сообщениям прием Горькому при прибытии был сделан восторженный. Особенно глубоко тронуты были американцы тем, что писатель, при входе парохода в гавань, громко выразил, обращаясь к статуе свободы, свой восторг по поводу осуществления давно лелеянной им мечты о вступлении на исконно свободную землю Америки. Весь восторг американцев, однако, исчез, когда они узнали, что спутница его, которую все газеты именовали „г-жей Горькой", не законная его жена. Горькому пришлось покинуть отель, в котором он поселился, и по настоянию хозяев последовательно выехать из трех других гостиниц. В нью-иоркском обществе поднялась настоящая буря возмущения против „безнравственности" Горького. Писатель нашел себе пристанище в одном из частных домов.

Русское общество было возмущено оскорблением, нанесенным русскому писателю.

„Наконец свет с Запада", под таким ироническим названием появилась 6 апреля в № 11 „Двадцатого Века" статья об инциденте с Горьким.

„Где Горький?",—писал „Двадцатый Век".—„Вот вопрос, который волнует в данный момент гораздо больше, чем в сущности ничтожный инцидент его с американскими мещанами".

В телеграмме от 14 апреля из Лондона, появившейся в русских газетах 15-го числа, говорилось, что М. Горький уже выступил в Нью-Иорке—произнес речь на большом митинге. Подписка в пользу русского освободительного движения дала на этом митинге до 2.500 долларов.

С этого Горький начал опять свою революционную деятельность, выступая на митингах и помещая статьи в американских газетах и журналах.

Правительство Франции пошло на предложения русского правительства: заем был заключен. Горький написал письмо А. Франсу и Ок. Мирбо с протестом против займа. Франс ответил любезным письмом, в котором выражал свое сожаление по поводу займа и сокрушался, признавая неизбежность факта.

В мае 1906 года в Нью-Иорке Горький написал известный свой памфлет „Прекрасная Франция". Он оканчивался таким обращением:

„Франция! жадность к золоту опозорила тебя, связь с банкирами развратила честную душу твою, залила грязью и пошлостью огонь ее.

И вот ты, мать Свободы, ты, Жанна Д'Арк, дала силу животным для того, чтобы они еще раз попытались раздавить людей.

Великая Франция, когда-то бывшая культурным вождем мира, понимаешь-ли ты всю гнусность своего деяния?

Твоя продажная рука на время закрыла путь к свободе и культуре целой страны. И если даже это время будет только одним днем—твое преступление не станет от этого меньше. Но ты остановила движение к свободе не на один день. Твоим золотом—прольется снова кровь русского народа.

Пусть же эта кровь окрасит в красный цвет вечного стыда истасканные щеки твоего лживого лица.

Возлюбленная моя!

Прими и мой плевок крови и желчи в глаза твои!"

„Echo de Paris" поместило краткую телеграмму из Берлина: „Максим Горький опубликовал статью, направленную против Франции,—поистине безумную. Он об'являет в ней, что плюет в лицо Франции, потому что она одолжила денег России".

В той же газете появилась небольшая статейка. „Не везет нам,—писалось в ней,—в нашем поклонении иностранцам... Гений Горького ближе всего соприкасается с анархизмом, что, как известно, прибавляет всегда особую прелесть. Мы были в восторге от М. Горького. И вот, Горький опубликовывает в одной из газет Нью-Иорка статью неслыханного неистовства, в которой он упрекает Францию в сообществе с финансистами, которые дают оружие реакционному царизму. Я немедленно вспомнил, как еще нынешней зимой я и многие другие платили по 50 франков за кресло, чтобы послушать драму Горького „На дне", в которой Дузе играла по-итальянски среди труппы, подававшей ей реплики по-французски,—никто, конечно, ничего не понимал, кроме того только, что это должно было быть очень хорошо по-русски. Я говорю об этом не потому, что я жалею о своих 50 франках, но чтобы показать Горькому, что не все наше французское золото идет исключительно на то, чтобы „проливать кровь русского народа", как он написал в американской газете".

Реакционная газета „Пелерен" писала: „До самого последнего времени пресса делала большую фигуру из русского революционера—Максима Горького и придавала большое

значение его прозе. Его стиль был тяжел, мысль темна, но это не мешало Горькому быть великим писателем, потому что он запальчивый революционер. Но как только революция перешла от теории к практике—М. Горький немедленно удалился на далекое расстояние и принялся за работу для эмансипации русского народа... в Америке. Он там занимается тем, что пишет отвратительные статьи против Франции. Одним словом, теперь, по всеобщему мнению, М. Горький не стоит больше и ломаного гроша. Следовало бы сказать это раньше".

Жюль Кларти в большой статье в „Temps" говорил о том, что Горький не понял французов.

А. Олар в Тулузской газете „Dépêches" вспоминал об „очаровании Горького, которое нигде не было так сильно почувствовано, как во Франции. Франция распространила по всему свету славу Горького. Когда узнали, что больной Горький был посажен в тюрьму, образованная французская публика была страшно взволнована, манифестировала и достигла того, что царь его выпустил на свободу". О памфлете Горького Олар писал так: „Этот плевок, брошенный Франции, плевок больного и опьяненного чернилами". Олар признает, впрочем, серьезные основания для негодования против Франции и спрашивает: „что случилось бы с Францией, если бы в июне 1789 года Англия или Австрия одолжила денег Людовику XVI?"

Но Олар находил ребячески несправедливым делать всю Францию ответственной за деньги, которые даны были русскому царю. „Истина заключается в том,—писал он,—что французское правительство согласилось на этот заем против убеждений цвета республики. Я сказал бы, что французское правительство заключило его против воли, потому что оно полагало, что это сила необходимого, что оно не могло поступить иначе".

„Если бы Горький прочел наши левые газеты,—писал далее Олар,—он увидел бы, с каким гневным недоумением было встречено известие об утверждении нового русского займа французской демократией, интеллигентами, почти всеми теми французами, которые думают свободно, а также единогласно всеми французскими социалистами".

Олар заключал статью уверениями в симпатиях французов к русским, несмотря ни на что.

Министр труда Рэнэ Вивиани в марсельской газете говорил о том, что Горький „сделал дурной поступок, написав эту статью, которая может только послужить контр-революции в Европе, унижая страну, которая, несмотря ни на что, стоит все-таки в авангарде народов".

Появилось еще много статей и заметок. Общий мотив их был в большинстве случаев один и тот же: французы напоминали русскому писателю о любви их к нему, о том, как Франция зачитывалась его произведениями, и о том, как недавно вся культурная Франция встала на его защиту.

В ответ на нападки французской прессы и обвинения в неблагодарности Горький опубликовал письмо „журналистам Франции" такого содержания:

Г. г. журналистам Франции.

Милостивые Государи.

Я познакомился с гейзерами красноречия, которые вызвала из ваших чернильниц моя статья о займе, данном правительством и финансистами Франции Николаю Романову на устройство в России кровавых экзекуций, военно-полевых судов и всевозможных зверств, я познакомился с вашими возражениями мне и—не поздравляю вас.

Союз с так называемым русским правительством идет вам в пользу—вы стали обращаться с логикой, правдой и благородным французским языком точно казаки с женщинами. Насилие, как видите, еще и потому гнусно, что оно развращает даже посторонних и равнодушных зрителей его, как это случилось с вами.

Я никогда не отвечаю на личные выходки против меня, и чем они грубее, тем скорее забываешь их, но, господа, вы обвиняете меня в неблагодарности, и я должен об'ясниться.

Вы говорите: мы встали на защиту Горького, когда он сидел в тюрьме, а он...

Позволю себе дать вам добрый совет: если однажды, по неосторожности или по иной какой причине, вы дали свободу своим человеческим чувствам, не хвастайтесь этим. Не хорошо.

Я был добр к тебе—ты за это должен заплатить мне благодарностью.—Вот что звучит в ваших словах. Но я не чувствую благодарности, и доброту вашу считаю недоразумением.

Я не мученик и не страдалец, каким вы меня усердно изображали, я просто человек, который уверенно делает свое небольшое дело, находит в работе полное удовлетворение, а если меня за это иногда и ненадолго сажали в тюрьму, я там отдыхал от естественной усталости, не ощущая особенных неудобств, не говоря уже о страданиях.

С точки зрения здравого смысла вам, господа, следует желать, чтобы я в тюрьме сидел возможно чаще и дольше, а когда вы протестуете против этого, меня такое ваше поведение, извините, смешит.

Ибо мы—враги и непримиримые, я уверен.

Затем вы говорите еще:—мы любим Горького, а он...

Господа. Искренно говорю вам—честному писателю и социалисту глубоко оскорбительна любовь буржуа.

Надеюсь, что эти строки вполне точно и навсегда определят наши взаимные отношения".

А. Олару Горький отвечал отдельно:

Г. А. Олару.

В туче злых слов и бессильного раздражения, в брызгах грязи и пошлой болтовни, которыми ответила французская пресса на мою статью о позорном поступке финансовой и правительственной Франции, я с удивлением и печалью встретил Ваше почтенное имя, профессор.

Вашу книгу о днях эпической борьбы французского народа с насилием—читает русский пролетариат, по ней он учится умирать за свободу, необходимую ему как воздух. Мое уважение к вам, историку, глубоко, и, уважая Вас, я не могу оставить вашу статью по поводу „Прекрасной Франции" без ответа, ибо мне всегда важно не то, как люди относятся ко мне, а то, как я отношусь к ним.

Вы, очевидно, не прочитали всю мою статью, но все же вы отчасти признаете, что я имел солидный мотив негодовать.

Нужно вполне признать это, уважаемый профессор.

Дело не только в том, что, как говорите вы,—„без денег Франции царь не мог бы разогнать Думу",—нет, дело в том, что без этих проклятых денег не было бы пролито крови русского народа так много и так зверски. И хотите вы этого или нет, но кровь легла позорным пятном на лицо французского буржуа и правительства, разрешившего Иудин заем.

Не французской прессе стереть это пятно: она сама недостаточно чиста для этого.

Вы ошибаетесь, видимо полагая, что я бросил мой упрек в лицо всей Франции. Зачем считать меня наивным. Я знаю, что народ никогда не ответственен за политику командующих классов и правительства, послушного лакея их. Я, в частности, знаю французский народ, знаю, как он сеял в Европе свободу, знаю, что он сознательно не пойдет против нее. Но как всегда, народ обманывают и позорят руководители его жизни, кто бы они ни были—немцы, англичане, французы, короли, банкиры, журналисты.

Я плюнул в лицо Франции банков и финансистов, Франции полицейского участка и министерства, я плюнул в лицо той Франции, которая плевала на Э. Золя, той, которая утопила в страхе пред королем Пруссии и жрецом всяческой глупости все свои рыцарские чувства и ныне живет только трепетом за свой покой и целость франков.

Но, уважаемый профессор, я думаю, эта Франция не избегнет страха и трепета тем, что дала, и, кажется, еще даст

шайке грабителей и убийц или иначе, дружественному ей правительству России франки, сплавленные из крови народа своего.

Русская революция будет развиваться медленно и долго, но она кончится победой народа. Следуя примеру старой Франции, мы отрубим головы гидре паразитизма, но далее мы постараемся не подражать даже и великой Франции.

Когда власть будет в руках народа, ему напомнят о банкирах Франции, помогавших семейству Романовых бороться против свободы права, правды за свою власть, варварскую, антикультурную роль которой ясно понимают и видят все честные сердца и глаза Европы.

Я уверен, что русский народ не возвратит Франции займов, уже оплаченных им своей кровью.

Не возвратит!

IX.

В октябре 1906 года Горький приехал на остров Капри в Неаполитанском заливе. Природа тихого итальянского острова так очаровала писателя, что он решил там поселиться.

Его заграничные выступления отрезали ему возможность вернуться в Россию, и Горький переходит на положение политического эмигранта.

Еще в начале 1900-х г.г. Горький примыкает к учению марксизма, а по приезде в Петербург он завязывает связи с боевой с.-д. группой „Искры", руководимой В. И. Лениным.

После 17 октября 1905 года Горький создает большую газету „Новая Жизнь", первую легальную большевистскую газету, которая с № 6 редактировалась непосредственно В. И. Лениным. Став эмигрантом, Горький еще теснее примыкает к большевистской фракции.

Весной 1907 года состоялся Лондонский с'езд Р. С.-Д. Р. П., на котором Горький присутствовал в качестве делегата с совещательным голосом. На Лондонском с'езде, как известно, особенно остро обнаружилась борьба между большевиками, во главе которых стоял Ленин, и меньшевиками с Плехановым во главе.

При открытии с'езда во вступительной речи Плеханов сказал: „силы одного пролетариата недостаточно для решительной победы над реакцией, ему нужны союзники". В сущности, этими словами бросался лозунг за союз с либеральной буржуазией, в соответствии с этим грядущая революция принимала в глазах меньшевиков характер революции буржуазной, непосредственные же задачи пролетариата отодвигались в неопределенное будущее. Не желая, однако, договариваться до конца, меньшевики были против обсуждения теоретических вопросов, вопросов тактики, и Плеханов, напр., говорил, что западные социалисты при виде этих споров

пожали бы плечами и сказали бы: „странные люди эти россияне! Дела у них непочатый угол, а они, подобно средневековым схоластикам, тратят время на бесплодные споры о том, сколько ангелов может поместиться на конце булавочного острия".

В. И. Ленин был иного мнения. Предвидя, что от позиции, которая займет социал-демократия в этом вопросе, будет зависеть вся тактика революции, он добивался решительной ясности.

„Не пренебрегайте теоретическими спорами,—говорил он,—не машите рукой презрительно по поводу фракционных измышлений насчет разногласий. Наши старые споры, наши теоретические и тактические разногласия постоянно превращаются в ходе революции в самые непосредственные практические разногласия. Нельзя сделать ни шагу в практической политике, не наталкиваясь на те же основные вопросы об оценке буржуазной революции, о соотношении кадетов и трудовиков и т. д.

... Плеханов только рельефнее, сильнее других выражает внутреннюю сущность, основную тенденцию всей меньшевистской политики: замену самостоятельной жизни рабочего класса приспособлением к либеральной буржуазии".

1 июня н. с. в 12 час. ночи Лондонский с'езд закончил на XXXV заседании свою деятельность. Он дал победу большевикам, которые провели все свои резолюции (об отношении к буржуазным партиям, к Государственной Думе и пр.). Горький, являвшийся свидетелем этой борьбы, был на стороне Ленина. К этому именно времени относится сближение его с вождем большевиков.

В. И. Ленин, по возвращении с Лондонского с'езда, жил под Петербургом в Финляндии. Начавшиеся поблизости аресты вынудили большевистский центр перенести издание газеты „Пролетарий" за границу. В. И. Ленину и еще двум членам партии было поручено поставить газету в Женеве. По приезде Ленина в Женеву, в начале 1908 г. между ним и Горьким завязывается переписка.

Тогда же возникает и мысль о постоянном сотрудничестве Горького в газете.

Еще 13 февраля н. с. В. И. Ленин писал А. В. Луначарскому: „Ваш проект беллетристического отдела в „Пролетарии" и поручения его А. М—чу превосходен и меня необычайно радует. Я именно мечтал о том, чтобы *литературно-критический* отдел сделать в „Пролетарии" постоянным и поручить его А. М—чу. Но я *боялся*, страшно боялся прямо предлагать это, ибо я *не знаю* характера работы (и работоспособности) А. М—ча. Если человек занят серьезной большой работой, если этой работе повредит отрыванье на мелочи, на газету, на публицистику,—тогда было бы глупостью и преступлением мешать ему и отрывать его! Это я очень хорошо понимаю и чувствую.

Вам на месте виднее, дорогой Ан. Вас. *Если Вы считаете, что мы не повредим работе* Ал. М—ча, ежели запряжем его в регулярную партийную работу (а парт. работа от этого массу выиграет!), то постарайтесь это наладить".

Характерно здесь бережное отношение В. И. к работе Горького и боязнь отвлечь его от художественного творчества, которое Ленин считал его основным делом. Самому Горькому он писал: „Ваш план писать маленькие вещи для „Пролетария" (анонс Вам послан) меня очень и очень радует. Но, разумеется, раз есть большая работа, *не отрывайтесь*".

Сотрудничество Горького в „Пролетарии", однако, не осуществилось, главным образом, вследствие возникших разногласий на философской почве. Горький, А. В. Луначарский и член ред. „Пролетария" А. А. Богданов отклонились от строго-материалистической философии, обоснованной в свое время Плехановым, и Горький прислал в редакцию „Пролетария" статью, затрагивающую эти вопросы. Ленин, будучи в корне несогласен с новыми философскими течениями, настаивал на том, чтобы в дело строительства партии не вмешивать эти споры и сохранить орган по отношению к ним нейтральным. На этом основании Ленин отклонил статью Горького. В виду распространявшихся слухов о новом расколе в социал-демократии, редакции пришлось поместить заявление: „Этот философский спор фракционным не является и, по мнению редакции, быть не должен; всякая попытка представить эти разногласия, как фракционные, ошибочна в корне".

Сохранить единство, однако, не оказалось возможным, к тому же разногласия философские осложнились еще и разногласиями чисто политическими. Единомышленники А. Богданова, приступившие к изданию своего органа „Вперед", считали себя левыми большевиками и настаивали на отзыве социал-демократических депутатов из Государственной Думы и переходе исключительно на нелегальную работу, тогда как Ленин стоял за легальную деятельность на-ряду с нелегальной. Группа эта получила название „отзовистов", философское же течение, возглавляемое А. Луначарским—„богостроительства".

В то же время А. Богданов, А. Луначарский и др. при ближайшей помощи и содействии Горького приступили к организации на Капри „школы" для группы вызванных ими из России рабочих, с целью подготовить из них образованных пропагандистов и партийных работников. Помещение для школы было отведено в нижнем помещении снимаемой писателем виллы.

А. Луначарский в своей книге „Великий переворот“ рассказывает о школе так:

„Своим возникновением каприйская школа вдвойне обязана замечательному человеку М. Вилонову. Он был родоначальником ее идеи, и он же был главным организатором. Надо прибавить, однако, к этому, что им же нанесен был каприйской школе сильный удар, отчасти дезорганизовавший ее. Тов. Вилонов, уральский рабочий, приехал на Капри по настоянию и на средства организации, к которой принадлежал, чтобы спастись от грызшей его чахотки. Натура необыкновенно могучая и психически и физически, тов. Вилонов нажил чахотку в результате жестокого избиения, которому был подвергнут после побега из Уфимской тюрьмы.

Вскоре после своего приезда он приобрел большое уважение и дружбу со стороны живших в то время на Капри Горького и Богданова, равно как и с моей стороны. Неугомонный организатор Вилонов, едва оправившись от своей болезни под влиянием каприйского климата, который оказался ему благоприятным,—начал поговаривать о возможности привезти тем же путем, как ехал он, несколько десятков избранных рабочих на Капри и здесь, в очаровательном и тихом уголке Европы, устроить партийный университет, из которого месяца через четыре можно было бы вернуть в Россию более или менее просвещенных политически товарищей.

Идея сначала показалась фантастической, возражения приходили в голову очень легко против подобного плана. Но, с одной стороны, идея Вилонова, с другой стороны, наша жажда увидеть подлинных русских пролетариев и поработать с ними—превозмогли препятствия.

На партийные средства, при значительной поддержке М. Горького, решено было основать эту школу.

М. Вилонов, рискуя арестом и смертью, в виду все еще крайне тяжелого состояния своего здоровья, лично отправился в Россию за рабочими.

Через некоторое время, летом 1910 г. *), Вилонов вернулся с 20 рабочими, выбранными различными организациями в разных концах России. Среди них оказались люди разного уровня, иные были простыми рабочими середняками, другие, наоборот, отличались блестящими способностями. Быть может, эта разница уровней была одним из самых трудных обстоятельств нашей школы. Преподавателями ее являлись: М. Горький, Ал. Богданов, Алексинский, я, Лядов, Десницкий-„Строев“.

Я преподавал историю германской социал-демократии, теорию и историю профессионального движения, вел практические занятия по агитации, а к концу прочел еще курс всеобщей истории искусства, который, как это ни странно, имел наибольший успех у рабочих и окончательно скрепил мою тесную с ними дружбу“.

*) А. Луначарский ошибается: летом 1909 г.

Горький читал лекции по литературе, построенные, по словам некоторых слушателей, очень искусно и оригинально. Особенно хороши были лекции, посвященные Пушкину и Гоголю.

Несмотря на все это, школа распалась, и главной причиной ее гибели была разгоревшаяся борьба между „впередовцами“ и „ленинцами“.

Еще в июне 1909 г. произошел окончательный разрыв с опубликованием в „Пролетарии“ резолюций „Большевистского Центра“, направленных против группы А. Богданова.

Естественно, что сторонники В. И. Ленина увидели в организации каприйской школы попытки укрепить новое течение в партии и получить своих ставленников в России. Поэтому среди других резолюций была помещена в „Пролетарии“ и та, которою заявлялось, что „большевистская фракция никакой ответственности за школу нести не может“.

Раскол в большевистской фракции перекинулся и на школу. Там среди слушателей образовалась группа „ленинцев“, которая, после отказа Ленина приехать на Капри прочесть часть лекций, сама отправилась к нему в Париж, куда тот переехал из Женевы.

К этой группе присоединился и Михаил Вилонов.

„Нельзя сказать,—пишет А. Луначарский,—чтобы он прямо примкнул к большевикам „умеренного толка“, но ему казалось, что будущее всего выводка первой партийной школы омрачается перспективой борьбы в своей собственной большевистской среде“.

Повидимому, Горький тяжело переживал эти раздоры, потому что В. И. Ленин, после свидания с приехавшим в Париж Вилоновым, 16 ноября н. с. 1909 г., под свежим впечатлением рассказов последнего, в тот же день пишет Горькому ласковое и ободряющее письмо:

„Дорогой Алексей Максимович! Я был все время в полнейшем убеждении, что Вы и тов. Михаил—самые твердые фракционеры новой фракции, с которыми было бы нелепо мне пытаться поговорить по-дружески. Сегодня увидал в первый раз т. Михаила, покалякал с ним по душам и о делах и о Вас и увидел, что ошибался жестоко... Я рассматривал школу *только* как центр новой фракции. Оказалось, это неверно—не в том смысле, чтобы она не была центром новой фракции (школа была этим центром и состоит таковым сейчас), а в том смысле, что это неполно, что это не вся правда. Суб'ективно некие люди делали из школы такой центр, об'ективно была она им, а кроме того школа черп-

нула из настоящей рабочей жизни настоящих рабочих передовиков. Вышло так, что, кроме противоречия старой и новой фракции, на Капри развернулось противоречие между частью социал-демократической интеллигенции и рабочими русаками, которые вывезут социал-демократию на верный путь *во что бы то ни стало* и что бы ни произошло, вывезут вопреки всем заграничным склокам и сварам, „историям“ и пр. и т. п.

...Из слов Михаила я вижу, дорогой А. М., что Вам теперь очень тяжело. Рабочее движение и социал-демократию пришлось Вам сразу увидать с такой стороны, в таких проявлениях, в таких формах, которые не раз уже в истории России и Западной Европы приводили интеллигентских маловеров к отчаянию в рабочем движении и в социал-демократии. Я уверен, что с Вами этого не случится, и после разговора с Михаилом мне хочется крепко пожать Вашу руку. Своим талантом художника Вы принесли рабочему движению России—да и не одной России—такую громадную пользу, Вы принесете еще столько пользы, что ни в каком случае непозволительно для Вас давать себя во власть тяжелым настроениям, вызванным эпизодами заграничной борьбы. Бывают условия, когда жизнь рабочего движения порождает неминуемо эту заграничную борьбу, и расколы, и свару, и драку кружков,—это не потому, чтобы рабочее движение было внутренне слабо или социал-демократия внутренне ошибочна, а потому, что слишком разнородны и разнокалиберны те элементы, из которых приходится рабочему классу выковывать себе свою партию. Выкует во всяком случае, выкует превосходную революционную социал-демократию в России, выкует скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует вернее, чем представляется, если судить по некоторым внешним проявлениям и отдельным эпизодам.

...Жму крепко руку и Вам и Марии Федоровне, ибо теперь у меня есть надежда, что нам с Вами придется встретиться еще не врагами“.

Между тем раскол в большевистской фракции породил массу слухов в буржуазной печати, причем много говорилось и об отношениях между большевиками и Горьким.

„Пролетарий“ ответил на это специальной заметкой, написанной В. И. Лениным:

Басня буржуазной печати об исключении Горького.

Вот уже несколько дней, как буржуазные газеты Франции („L'Eclair“, „Le Radical“), Германии („Berl. Tageblatt“) и России („Утро России“, „Речь“, „Русское Слово“, „Новое Время“) смакуют самую сенсационную новость: „исключение Горького из с.-д. партии“. „Vorwärts“ поместил опровержение этого вздора. Редакция „Пролетария“ тоже послала в несколько газет опровержения, но буржуазная печать игнорирует его и продолжает раздувать сплетни.

Источник этой сплетни ясен: какой-нибудь борзописец, услыхав краем уха о разногласиях в связи с отзовизмом и богостроительством (вопрос, чуть не год уже открыто обсуждающийся в партии вообще и в „Пролетарии“ в частности), безбожно переврал обрывки сведений и „славно заработал“ на сочиненных интервью и т. п.

Цель сплетнической кампании не менее ясна. Буржуазным партиям *хочется*, чтобы Горький вышел из с.-д. партии. Буржуазные газеты из кожи лезут, чтобы разжечь разногласия внутри с.-д. партии и представить их в уродливом виде. Напрасно стараются буржуазные газеты. Товарищ Горький слишком крепко связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим движением России и всего мира, чтобы ответить им не иначе, как презрением“.

X.

Горький не имел своего журнала. Он прав был, называя себя в одном письме „одиночкой“. Сношения его с литературными органами имели характер более или менее случайного сотрудничества. Чаще печатался он в „Современном Мире“, „Современнике“ и „Русском Слове“.

Но мечты о своем журнале не оставляли его, и он вел по этому поводу много переговоров с издателями, литераторами и партийными деятелями. Все эти попытки, однако, за каприйский период не дали никаких результатов.

Летом 1910 г. В. И. Ленин пробыл несколько дней у Горького на Капри и из переписки их видно, что и там беседа велась о предполагаемом журнале.

Ленин соглашался с тем, что пора его иметь, но отвергал возможность об'единения вокруг журнала меньшевиков и большевиков. В январе 1912 года большевики после окончательного разрыва с меньшевиками и „впередовцами“ созвали конференцию в Праге, на которой удалось собраться с силами и возродить большевистскую фракцию и ее Ц. К. Горький был приглашен на конференцию, но не приехал, прислав приветствие конференции. В письме также вновь говорилось о желательности издания большого марксистского журнала.

Однако, осуществить это не удавалось за отсутствием средств.

В это же время Горький принимает участие в возрождающейся легальной революционной рабочей печати. Это возрождение связано с общим революционным под'емом

1911—1912 годов. Первая легальная газета большевиков после 1907 г. „Звезда“ начала выходить еще в декабре 1910 года, и в течение 1911 г. много раз подвергалась конфискациям и штрафам, вследствие чего выходила с перерывами. 15 ноября н. с. 1911 г. В. И. Ленин писал Горькому: „Пока мы смогли только раздобыть последние деньжонки на возобновление „Звезды“. Рассчитываю очень на Вашу подмогу: пришлите статейку. Подмога особенно важна вначале, ибо налаживать прерванное издание будет нелегко“.

Горький поместил в „Звезде“ несколько своих „Сказок“, которые Ленин в другом письме называет революционными прокламациями.

„Очень и очень рад,—писал он в 1912 году,—что Вы помогаете „Звезде“. Трудно нам с ней чертовски и внутренне, и внешне, и финансовые трудности необ'ятны,—а все же пока тянем“.

И в другом письме: „З в е з д а“ будет продолжаться либо еженедельная, л и б о в в и д е к о п е й к и е ж е д н е в н о й. Великолепными „сказками“ Вы очень и очень помогали „Звезде“, и это меня радовало чрезвычайно...“.

Ленский расстрел в апреле 1912 года всколыхнул еще более рабочие массы и вызвал целую бурю протестов по всей стране. В том же году Горький пишет первомайскую прокламацию, а в начале 1913 года берется за редактирование беллетристического отдела в большевистском органе „Просвещение“.

Выступал Горький и вне партийной печати, живо откликаясь на общественные и литературные события в статьях „Издалека“, „О современности“ и др.

Часто статьи его принимали простую форму воззвания, как протест по поводу новых репрессий царского правительства против Финляндии, как это было в 1907 году, или манифест о помощи пострадавшим во время Мессинского землетрясения в декабре 1908 г.*).

В то же время Горький продолжает усиленно работать над новыми художественными произведениями.

Написанная еще в Америке и напечатанная в сборниках „Знания“ повесть „Мать“ снова привлекла к нему сугубое внимание полиции. Всем памятно, как курьез, об'явление о розыске в приказе СПБ градоначальника:

„По об'явлению СПБ окружного суда отыскивается нижегородский цеховой малярного цеха мастер Алексей Максимович Пешков (Максим Горький), обвиняемый по 1 и 4 п. 129, 73 и 132 ст. угол. уложения“.

*) В 1909 году на немецком и русском языке была выпущена книга „Землетрясение в Мессине“, написанная М. Горьким и проф. В. Мейером, автором „Истории Земли“ и других сочинений.

Об'явление это даже вызвало слухи, вскоре опровергнутые, о предстоящей высылке писателя из Италии.

Ряд политических и художественно-публицистических выступлений Горького вызвали охлаждение части русской интеллигенции, увидевшей в этом упадок его таланта и устами Д. В. Философова об'явившей даже „Конец Горького“ (так называлась его статья в „Русской Мысли“).

Говорить, однако, об общем охлаждении читателей к Горькому не приходится. Сборник, в котором была напечатана его повесть „Исповедь“, разошелся в количестве около 30 т. экземпляров, много статей в печати вызвал его „Городок Окуров“ и др. произведения. Что же касается повести „Мать“, изображавшей картину рабочего революционного движения в России, то она особенно привлекла внимание русской демократии.

В „Труженике“, например, появилось открытое письмо М. Горькому, подписанное рабочими и работницами,—такого содержания:

„С непосредственным чувством восторга и радости мы приветствовали появление „Матери“; нам было отрадно еще и потому, что великим художником ее явились Вы, бывший рабочий, а теперь певец расцвета и радости жизни не в мистически-исковерканном виде, а во всем ее грандиозном об'еме, начиная от былинки полей и кончая эфиром неба“.

Большой интерес вызвала повесть и за границей.

„Вероятно немногие произведения современной литературы,—говорит А. Луначарский в статье о Горьком,—могут попытаться сравниться с этой повестью по произведенному ею впечатлению и по степени распространения. В самой России повесть, конечно, в значительной своей части запрещенная, вышла искалеченной и лишь наполовину убедительной, полное переиздание на русском языке, которое имело место за-границей, слабо проникало в Россию. Зато заграничная рабочая пресса, главном образом, немецкая, да отчасти французская и итальянская подхватили эту повесть и разнесли ее в виде приложений к газетам или фельетонов буквально в миллионах экземпляров. Для европейского пролетариата „Мать“ сделалась настольной книгой“.

Если „Мать“ привлекала широкие массы нарождающегося пролетарского читателя, то повесть „Исповедь“, вышедшая еще в 1908 году, вызвала оживленные толки и в либеральной печати. Так, „Русская Мысль“ писала: „Исповедь“ опять заставила говорить о своем авторе и снискать успех книге, что за последнее время стало для Горького довольно необычным“. Впрочем, либеральную печать интересовало в новой вещи Горького больше всего то, что герой ее соединяет социализм с религиозными побуждениями и, как во-

площение и символ общественных стремлений, создает „строит“ своего бога.

„Богостроительство“ — так и называлось это идеологическое течение, к которому, как было упомянуто ранее, примыкал и А. В. Луначарский.

Однако, именно эта сторона повести в марксистской критике вызвала довольно резкую оценку.

Г. Плеханов в „Современном Мире“ назвал „богостроительство“—„богосочинительством“, подчеркнув, что не следует общественные чувства подменять религиозными.

В большевистской печати также появился отклик на эти споры. „Пролетарием“ в статье Л. Б. Каменева „Не по дороге“, направленной против всей группы „впередовцев“, была высказана и оценка „Исповеди“.

В 1909 году Горький печатает повесть „Лето“, изображая в ней новую революционную деревню. Повесть ведется от лица молодого агитатора, также вышедшего из низов. И характерно, что если партийная с.-д. печать отрицательно относилась к отклонениям Горького от пролетарской позиции, то, с другой стороны, острое внимание писателя к вопросам социальным продолжало вызывать в части интеллигенции причитания о Горьком, как о потерянном человеке и конченном художнике.

„Потерял себя Горький,—писал С. Адрианов в „Вестнике Европы“, отдал свою царственную „способность“ в кабалу за чечевичную похлебку партийного работника—и захирела в неволе она, вольнолюбивая, потеряла всю свою силу и власть над людьми. Пусть бы только оценил Горький хоть тот факт, как читали его лет пять тому назад, и как читают теперь. Не в публике, не в изменившихся обстоятельствах главная причина наступившего равнодушия ко вчерашнему кумиру и любимцу, а в нем самом. Перестали волновать его писания потому, что сам он перестал волноваться, застыл в скорлупе сухого догматизма, и заслонила от него эта скорлупа вечно текущую, вечно творящую жизнь—учительницу и вдохновительницу“... Эти причитания были тем более неудачны, что вышедший к тому времени „Городок Окуров“ вновь и вновь заявил о Горьком, как о художнике, превосходно знающем русскую жизнь и владеющем крепким мастерством ее изображения. „Весь городок зарисован в немногих словах с необычайной обстоятельностью и картинностью,—писал критик „Русского Богатства“,—с его церквами и промыслами, с флорой и фауной, с чиновничьей обывательщиной и мещанскими низами, с Стрелецкой улицей и речкой Путаницей, с любительскими спектаклями в „Лиссабоне“ и кулачными боями на льду, старая Русь, не умирающая в потоке новых форм, бесконечно близкая и дорогая художественному взгляду автора...“

Когда же стала печататься новая вещь Горького „Жизнь Матвея Кожемякина“, то даже „Аполлон“, журнал далекий от вопросов общественности и противник бытовой прозы, признал в ней произведение большой силы и только сожалел, что „может быть самое лучшее произведение Горького печатается в сборниках „Знания“ теперь, когда интерес к этим сборникам упал едва ли поправимо“.

Независимо, однако, от популярности сборников, отношения с издательством „Знание“ были у Горького далеко не удовлетворительными.

В 1912 году В. И. Ленин, отвечая своему корреспонденту, писал: „А вот, что Вам жить не на что и печататься негде, это скверно. Эх, давно бы Вам прогнать... *) да приставить честного приказчика, простого приказчика к „Знанию“... Если бы да кабы... Было бы золотое дно...“

Однако, наладить свои литературно-издательские отношения Горькому до переезда в Россию так и не удалось.

В 1913 году Горький вновь привлек общее внимание своим публицистическим выступлением по поводу инсценировки „Бесов“ Достоевского Московским Художественным Театром. В статье „О карамазовщине“ Горький, называя подобное представление затеей „сомнительной эстетически и безусловно вредной социально“, предлагал протестовать против постановки произведений „этого гения, великого мучителя и человека больной совести“—Достоевского на подмостках театров, тем более, что „Бесы“ являются пасквилем на русскую революцию.

За все время своей писательской деятельности Горький неоднократно выступал против сложившегося общественного мнения, употребляя откровенные и грубоватые выражения, что вызывало иногда сильное раздражение у его оппонентов. Много нападок вызвала и эта статья.

В том же 1913 году последовала амнистия по поводу 300-летия дома Романовых, и Горький решает вернуться в Россию. Однако ухудшение в состоянии его здоровья задерживает его на Капри.

В августе 1913 года туберкулез, которым с 28 лет страдал писатель, обострился и принял крайне опасную форму. К тому же осень была исключительно ветреная и дождливая.

„То, что Вы пишете о своей болезни,—писал ему В. И. Ленин,—меня страшно тревожит.

...А Вы после Капри зимой в Россию??? Я страшно боюсь, что это повредит здоровью и подорвет Вашу работоспособность. Есть ли в этой Италии первоклассные врачи??“

И в другом письме опять: „Известие о том, что Вас лечит *новым* способом „большевик“, хотя и бывший, меня ей-

*) Выпущено два слова. *И. Г.*

ей обеспокоило. Упаси боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности.

„...Уверяю Вас, что лечиться (кроме мелочных случаев) надо *только* у первоклассных знаменитостей".

Опасения Ленина оказались напрасными. Лечил Горького доктор И. И. Манухин, с которым он познакомился как раз во время сильнейшего обострения процесса в легких. К счастью, Манухин удачно применил к своему пациенту новый метод лечения туберкулеза, открытый им, и ему удалось спасти писателя. В конце декабря Горький покинул Капри и переехал на родину.

XI.

Приезд Горького был встречен многочисленными приветствиями и поздравлениями, в которых факт возвращения его на родину невольно связывался со все продолжающимся ростом революционного настроения в стране.

„Теперь Вы вернулись к нам,—писали московские студенты,—как раз накануне нашего пробуждения от долгого и мучительного сна... Крепнет надежда, что мы накануне весны, и хочется верить, что вместе с Вами встретим ее". В одном из приветствий от рабочих говорилось: „Мы верим, что Ваше пребывание на родине и духовная работа увеличат наши силы и помогут нам, российским пролетариям, сбросить ненавистное иго царящей тьмы".

От всех публичных чествований больной еще писатель уклонился и в феврале 1914 года поселился под Петербургом в Финляндии.

Мировую войну Горький встретил с величайшим негодованием и всегда оставался одним из самых ожесточенных ее противников. Когда осуществились желания Горького и в 1915 году под его руководством стал выходить толстый журнал „Летопись", он занял резко интернационаистическую позицию.

Первая книга „Летописи" вышла 8 декабря 1915 года, а через год и журнал Горького, и деятельность издательства, которым он же руководил, пользовались уже заслуженною ненавистью всех реакционных, буржуазных и оборонческих групп. Результатом этого на страницах газеты „Голос Руси" появилась истерическая статья, в которой через всю ложь и инсинуации можно разглядеть любопытное свидетельство революционной деятельности Горького.

Вот эта статья:

Обществу 14-го года.

Максим Горький наводнил своими изданиями все Поволжье.

И не только своими произведениями, а своими изданиями.

Ибо Максим Великий не только король хулиганов, но и коммерсант-издатель.

Один из офицеров, ездивший по Волге, передает, что Поволжье стоном стонет от этого разлива максимовской „горечи".

Все в один голос:

Избавьте нас от Горького!

Избавьте нас от *пораженческой* литературы!

Примечательно, что проникновение пораженческой литературы особенно ревностно устремляется к заводам, работающим на оборону...

Все издания и стенограммы настойчиво вдалбливают в головы стоящих у оружейных станков рабочих следующие „аксиомы":

Война нужна только буржуазным правительствам Франции, Англии, России и их врагов Германии и Австрии.

Пролетариям *всех* этих стран никакая война не нужна.

Далее говорится о мире в такой форме, которая делает невозможным даже приблизительную передачу этих „мыслей" в повременной печати.

Кроме стенограмм пораженческого крыла Думы и творений Горького, по поволжским городам и даже селам (в земские читальни) усердно рассылается пораженческий журнал „Летопись", издающийся все тем же Максимом Великим.

Над этим явлением стоит очень и очень призадуматься.

В самом деле,—если правда, как сообщил В. М. Пуришкевич,—что цензорский карандаш оказывается беспощадно строгим к колеру туч и облаков, если он требует от небесного свода непременно одежды защитного цвета,—то чем об'яснить, что он так милостив к *государственному преступлению*, творимому путем печатного слова.

В наши дни, когда *розыск* и *следопыт* стали лозунгом прогрессивно общественной деятельности, когда каждый наперебой старается раскопать „темную силу" и „измену", когда стали пересчитывать и оглядывать деньги в чужом кошельке, любовь—в чужом алькове, метрику прадеда и прабабки, когда стоит только крикнуть „слово и дело", чтобы прослыть патриотом и либералом—не странно ли, что в эти наши печальные дни проходит незамеченной, необнаруженной, незаклейменной гнусная работа пораженцев!..

То-то радуется кайзер!

Видя, в какой бедлам превратилось самое высшее общественное учреждение*), как вздорная болтовня, грубая перебранка, злостные счеты и свары заливают те ячейки, где должна кипеть организация, работа.

Сейчас в берлинском театре особенно охотно ставят пьесы Горького.

---

*) Госуд. Дума. *И. Г.*

Максим Великий страшно популярен в Германии, как самый сознательный и культурный в стране сарматских „варваров“. Статьи его перепечатываются в немецких и австрийских газетах с лестными предисловиями Гауптмана и Вильгельма Оствальда.

Пусть же задумается над этим „Общество 14-го года“!

Материал для грифельной доски перед ними!

И материал *серьезный*.

Далеко искать не приходится!

Пусть приобретут, пусть почитают горьковские издания, „Летопись“ и стенограммы наших либкнехтов!

Тогда их осуждающее слово приобретет действительно патриотическое значение. *Ювенал.*

Конечно, Ювенал хлопотал не об „осуждающем слове“, а о более решительных действиях полицейского характера. Действительно, статья появилась 27 ноября 1916 года, а 1 декабря директор департамента полиции писал следующее письмо начальнику главного управления по делам печати:

Доверительно.

Милостивый Государь,
Всеволод Аристархович!

В газете „Голос Руси“ от 27 ноября с. г. помещена заметка под заглавием „Обществу 14 года“, автор коей указывает на значительное распространение в поволжских губерниях различных брошюр пораженческого направления, издаваемых писателем М. Горьким, причем в эти брошюры вкладываются стенограммы речей членов Государственной Думы социал-демократической фракции того же направления.

Наряду с этим автор заметки отмечает факт рассылки в различные местности упомянутых губерний издаваемого Горьким журнала „Летопись“—пораженческого направления.

Уведомляя об изложенном, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сообщить для доклада г. управляющему министерством внутренних дел Ваше заключение о том, насколько соответствуют действительности сведения о пораженческом направлении журнала „Летопись“.

Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в совершенном моем почтении и преданности.

А. Васильев.

№ 110974.
1 декабря 1916 г.

Начальник главного управления по делам печати запросил своих чиновников, и цензор В. У. Трофимович дал такую характеристику журнала:

Летопись.

Ежемесячный журнал „Летопись“ издается А. Н. Тихоновым под редакцией А. Ф. Родзниковского, но, по имеющимся

сведениям, фактическим руководителем состоит М. Горький. Первый номер журнала вышел в свет в декабре 1915 года.

Судя по представленному на просмотр цензуре, как одобренному для напечатания, так и непропущенному цензурой, журнал имеет резко оппозиционное направление с социал-демократической окраской.

В отношении к переживаемой Россией Великой отечественной войне журнал „Летопись“ следует отнести к числу пораженческих изданий. Уже с первого номера редакция пыталась проводить взгляд, что западная, точнее германская, культура, несравненно выше нашей славянской, а потому русскому народу следует войти в более тесное единение с западным соседом. Вместе с тем редакция старалась провести статью о военной и экономической мощи Германии, которая несравненно выше мощи союзников, потому победа над Германией немыслима.

Далее, редакция неоднократно представляла статьи, в которых старалась ознакомить читателей с агитацией в пользу мира среди французских, английских и итальянских рабочих, причем сочувствовала вполне этой агитации. В статьях о результатах войны редакция пыталась доказать, что нынешняя война ничего не принесет России ни в политическом, ни в экономическом отношении.

В статье М. Горького по поводу одной анкеты было приведено мнение какой-то рабочей группы, что поражение России необходимо для улучшения быта евреев и рабочего класса. Наконец, к известному письму Плеханова редакция отнеслась отрицательно, считая Плеханова изменником идеалам и заветам социализма.

Равным образом вся русская патриотическая литература подвергается со стороны журнала „Летопись“ резкому осуждению.

Еврейскому вопросу редакция „Летописи“ посвящает много места и горячо отстаивает еврейские интересы.

Трофимович.

Повидимому, директор департамента полиции не успел воспользоваться этой справкой для доклада „г. управляющему министерством внутренних дел“: после убийства Распутина дела пошли так быстро, что было не до закрытия какого-то „пораженческого“ журнала. „Летопись“ просуществовала еще год и закрылась вследствие наступивших трудностей типографского дела. Посылая в последнем номере товарищеский привет сотрудникам и читателям, редакция надеялась, что „рано или поздно внешние препятствия, мешающие нашей совместной работе, будут устранены, и страницы „Летописи“ вновь станут ареной борьбы во имя поли-

тической свободы, социального равенства и Пролетарского Интернационала".

Такой же интернационалистский характер носила и основанная им после февральской революции газета „Новая Жизнь", в которой Горький поместил ряд своих статей.

В 1917—18 году он организует научное учреждение „Свободная Ассоциация" и просветительное общество „Культура и Свобода", однако, обе организации не могли укрепиться в условиях того бурного времени.

В строительстве Советской России Горький принял участие, как виднейший культурный деятель, отстаивая всегда близкие ему интересы просвещения и связанные с этим вопросы материального быта.

В 1919 году Горький возглавляет комиссию по улучшению быта ученых и основывает большое издательство „Всемирная Литература", поставившее себе задачей издание лучших образцов классической литературы для широкого распространения.

Распространение знаний и произведений искусства, культурное поднятие низов всегда составляло одну из самых задушевных мыслей Горького. „М. Горький,—пишет В. А. Строев,—не прошел никакой школы, кроме суровой школы жизни, не получил систематического образования, и для него самого это обстоятельство составляет источник глубоких и искренних огорчений.

Но из тысяч людей, с которыми сталкивала меня судьба, я не могу вспомнить ни одного, у кого была бы такая ненасытная, непреодолимая жадность к знанию, пламенная вера в науку и любовь к ней. И в науке ему дороги не столько сделанные ею завоевания, сколько новые устремления все вперед и выше, сколько демократизация знаний, сколько вовлечение в научное творчество широких народных масс.

И приближение искусства во всех его формах к народным массам—демократизация живописи, музыки, скульптуры, как и демократизация знаний — дело всегда близкое Алексею Максимовичу, которому он всегда готов отдаться и как художник, и как человек с разносторонними и обширными познаниями. Он никогда не может забыть мучительные боли духовного голода, которые он ощутил во всей полноте за свои детские и юношеские годы.

...Его книги положили начало бесконечному количеству библиотек различных просветительных обществ и учреждений: в книге М. Горький, влюбленный в нее, никогда и никому отказать органически не может".

Другой чертой Горького является его необычайно внимательное, бережное и любовное отношение к начинающим писателям. В каждом из них он видит своего товарища и всегда готов помочь ему словом и делом. Русская литература последних 20—25 лет насчитает десятки имен писателей, для которых одобрение и помощь Горького явились решающим моментом.

Известна также работа Горького по об'единению пролетарских писателей, первый сборник которых в 1914 году вышел под его редакцией.

Из политических выступлений Горького последнего периода наиболее ярким является статья 1920 года, помещенная в „Коммунистическом Интернационале". В ней он дал одну из наиболее блестящих характеристик Владимира Ильича Ленина.

„Он не только человек, на волю которого история возложила страшную задачу разворотить до основания пестрый, неуклюжий, ленивый человеческий муравейник, именуемый Россия,—его воля неумолимый таран, удары которого мощно сотрясают монументально построенные капиталистические государства Запада и тысячелетиями слежавшиеся глыбы отвратительных рабских деспотий Востока.

...Вот этот человек говорит речь на собрании рабочих,—он говорит удивительно простыми словами, железным языком, с логикой топора, но—в его суровых словах я никогда не слыхал ни грубой демагогии, ни пошлого франтовства красивой фразой. Он говорит всегда одно: о необходимости в корне уничтожить социальное неравенство людей и о путях к этому. Эта древняя правда звучит в его устах резко, непримиримо: всегда чувствуешь, как спокойна его вера—вера фанатика-ученого, а не метафизика, не мистика. Мне кажется, что ему почти неинтересно индивидуально-человеческое, он думает только о партиях, массах, государствах, и здесь он обладает даром предвидения, гениальной интуицией мыслителя-экспериментатора. У него есть та счастливая ясность мысли, которая дается только путем напряженной, непрерывной работы.

...Работу его мысли я сравнил бы с ударами молота, который, обладая зрением, сокрушительно дробит именно то, что давно пора уничтожить".

Вновь наступившее ухудшение здоровья и появление кровохарканья вынудили Горького уехать в 1921 году за границу, где он живет и в настоящее время, продолжая неутомимо работать над новыми художественными произведениями.

„Я работал много и даже по сию пору работаю и до смерти буду" — эта фраза из одного письма является не голословным утверждением, а действительным и основным принципом всей жизни писателя.

Еще в 1913 году повестью „Детство" начался для Горького новый и в художественном отношении едва ли не самый блестящий период творчества. Ряд произведений, продолжающих „Детство" и имеющих характер автобиографических записей, не закончился и по настоящее время. Огромная художественность и глубокая мудрость делают их одними из

самых значительных явлений всей новейшей литературы, и в то же время для самого писателя это — итоги жизни. Это—сказочная эпопея человека, силою своей воли и громадной настойчивости пробившегося через все путы, которые ставил ему на дороге звериный быт старой России. А они были таковы, что после описания одного из наиболее ужасающего случая—избиения матери—писатель делает следующее отступление:

„... Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе—стоит; ибо это — живучая подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной.

И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас до смерти, расплющивая множество прекрасных душ, русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их.

Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе, человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой".

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

I. 1868—1884.

Рождение Горького. Его предки. Жизнь в Астрахани и смерть отца. Возвращение в Нижний. Жизнь в семье Каширинных. Бабушка. Мать. Учение по церковным книгам. Школа. Разорение родных. Горький — ветошник. Мальчиком в магазине обуви. В „учении" у чертежника. Поваренком на пароходе. Повар Смурый. Снова у чертежника. Чтение книг. Иконописная мастерская. В Казань—учиться! 5

II. 1884—1891.

Как началась жизнь в Казани. Горький—грузчиком на пристанях. „Босяки". Перегрузка баржи. Знакомства среди интеллигенции. Участие Горького в кружках для самообразования. „Народники". Отношение к Горькому интеллигентов. Горький поступает в крендельное заведение. Булочная Деренкова. Городовой „Никифорыч". Обязанности в булочной. Тяжелые душевные переживания. Попытка самоубийства. Рассказ „Случай из жизни Макара". Снова в булочной. М. А. Ромась. Лавка в селе Красновидово. Горький на революционно-пропагандистской работе. Поджог лавки. От'езд Горького на Каспий. Ночным сторожем на ж.-д. станции. Случай во время дежурства. Горький—весовщиком на ст. Крутой. В Нижний—на призыв. Путешествие Горького. Арест в Нижнем. Характеристика Горького генералом Познанским. Негоден в солдаты. Знакомство с В. Г. Короленко. Отношение к интеллигентам. Уход из Нижнего—путешествовать 9

III. 1891—1892.

„Хождения" Горького. Случай в деревне Кандыбовке. Приход в Тифлис. Рассказ „Мой спутник". Статья Цулукидзе. „Шлянье" по монастырям. Казнь кавказских разбойников. Работа в железнодорожных мастерских. Знакомства с рабочей молодежью. Арест в Майкопе. Переломное время в жизни Горького. Первый рассказ „Макар Чудра". А. М. Калюжный Внешность Горького того времени. Его физическая сила. Гиго Читадзе. От'езд в Нижний . 19

IV. 1892—1898.

Жизнь в Нижнем. Сближение с В. Г. Короленко. Сотрудничество в „Волжском Вестнике". Роль В. Г. Короленко. „Емельян Пиляй" в „Русских Ведомостях". „Челкаш". „На соли". Жилище Горького в Нижнем. Переезд в Самару. Работа в „Самарской Газете". Фельетоны Иегудиила Хламиды. Женитьба Горького и возвращение в Нижний. Работа в „Нижегородском Листке". Всероссийская выставка. Критические статьи Горького. Болезнь

Стр.

Горького и отправка его в Крым. Театр в селе Мануйловке. „Ярмарка в Голтве". На фабрике в Тверской губернии. Арест Горького в Нижнем и отправка в Тифлис. „Встряска". Снова в Мануйловке. Известность Горького в столичных литературных кругах. Переписка с редакцией „Новое Слово". „Коновалов". Мнение Горького о себе и мнение о нем его друзей 23

V. 1898—1901.

Выход первого сборника рассказов. Его успех. Причины успеха. Необычайная популярность Горького. Культурная работа его в Нижнем. Жизнь в Нижнем. Горький и Шаляпин. Анекдоты на почве популярности. Приезд Горького в Петербург. Инцидент в Московском Художественном театре. „О писателе, который зазнался". 4 марта 1901 года. „Песнь о Буревестнике". Арест Горького в Нижнем. Сообщение директора департамента полиции. Перехваченная переписка. Сношения Горького с „искровцами". Освобождение из тюрьмы и высылка в Арзамас. Разрешение поселиться в Ялтинском уезде. Проводы Горького 29

VI. 1901—1904.

Жизнь в Крыму. Встречи с Л. Н. Толстым. Уведомление Горького об избрании его в почетные академики. Шум в печати по этому поводу. Бульварная пресса. Статья в „Гражданине". Сообщение „Правительственного Вестника". „Конфиденциальная" бумага от таврического губернатора. Ответ Горького. Письма А. П. Чехова и В. Г. Короленко. Справка департамента полиции и резолюция Николая II. „Мещане". Чтение в Московском Художественном театре пьесы „На дне". Бенефис Шаляпина и речь Горького. Успех пьесы „На дне". Сдержанное отношение петербургской печати к драме. Гонение на нее. Отход „благонамеренной" части общества от Горького. Статья Горького по поводу еврейского погрома в Кишиневе. Неистовство реакционной печати. Раскол общества по отношению к Горькому. „Дачники". Инцидент на представлении. Слухи о новом театре 38

VII. 1905.

Слухи о петиции рабочих к царю. Делегация к кн. Святополк-Мирскому и гр. Витте. 9 января. Отчет о событиях, составленный Горьким. Арест Горького. Заключение в Петропавловской крепости. Освобождение под залог. Лечение в Ялте. Переезд в Финляндию. Шум за границей по поводу ареста Горького. Манифестации, речи и статьи. Петиция иностранных писателей. Популярность Горького. „Дети Солнца". Как писалась пьеса. Чтение пьесы в среде литераторов. Представление пьесы в Художественном театре. Переполох в последнем акте. „Новая Жизнь". Состав сотрудников. Преследование полиции. Закрытие газеты 47

VIII. 1906.

Известия о займе и протест русского общества. Поездка Горького за границу. Правительственная агитация. Встреча Горького в Берлине. Горький в Париже. Приезд в Нью-Йорк. Работа охранников. Столкновение с американской „нравственностью". Выступления Горького в Америке. Заключение займа. Письма Горького Ан. Франсу и О. Мирбо с протестом против займа. Памфлет. „Прекрасная Франция". Французская печать о памфлете. Статья А. Олара. Ответ Горького „журналистам Франции" и А. Олару . 53

Стр.

IX. 1906—1909.

Остров Капри. Горький—политический эмигрант. Связи Горького с большевистской фракцией РС-ДРП. Лондонский с'езд. Сближение Горького с В. И. Лениным. Приезд В. И. Ленина в Женеву и начало переписки его с Горьким. Вопрос о сотрудничестве Горького в „Пролетарии". Разногласия на философской почве. Группа „впередовцев". Школа на Капри. М. Вилонов. Лекции Горького. Раскол между „впередовцами" и „ленинцами" внутри школы. Конец школы. Письмо В. И. Ленина Горькому. Слухи об исключении Горького из партии и опровержение „Пролетария" 59

X. 1909—1913.

Случайный характер сотрудничества Горького. Мечты о своем журнале. Мнение В. И. Ленина. Участие Горького в возрождении легальной рабочей печати и письма В. И. Ленина по этому поводу. Публицистические выступления Горького вне партийной печати. Художественное творчество Горького. Охлаждение к Горькому части русской интеллигенции. Популярность „Матери" в рабочих массах. „Исповедь" и марксистская критика. „Лето". Причитания „Вестника Европы" по поводу упадка таланта Горького. „Городок Окуров". „Матвей Кожемякин". Отзывы критики. Издательские отношения Горького. Выступление Горького по поводу инсценировки „Бесов" Достоевского. Амнистия 1913 года и решение Горького вернуться в Россию. Обострение болезни. Опасения В. И. Ленина. Удачное лечение Горького доктором И. И. Манухиным. От'езд Горького в Россию 65

XI. 1914—1925.

Встреча Горького в России. Горький поселяется в Финляндии. Война 1914 г. и отношение к ней Горького. Журнал „Летопись". Ненависть реакционных групп к политической деятельности Горького. Статья в „Голосе Руси". Переписка департамента полиции с главным управлением по делам печати. Цензорская характеристика журнала „Летопись". Закрытие „Летописи". Газета „Новая Жизнь". Просветительно-организаторская работа Горького. „Свободная Ассоциация" и „Культура и Свобода". Участие Горького в культурном строительстве Советской России. „Комиссия по улучшению быта ученых" и „Всемирная литература". Особенности культурной работы Горького. Статья Горького о Ленине. Ухудшение здоровья и от'езд Горького за границу. Работа над художественными произведениями. Последний период художественного творчества Горького 70